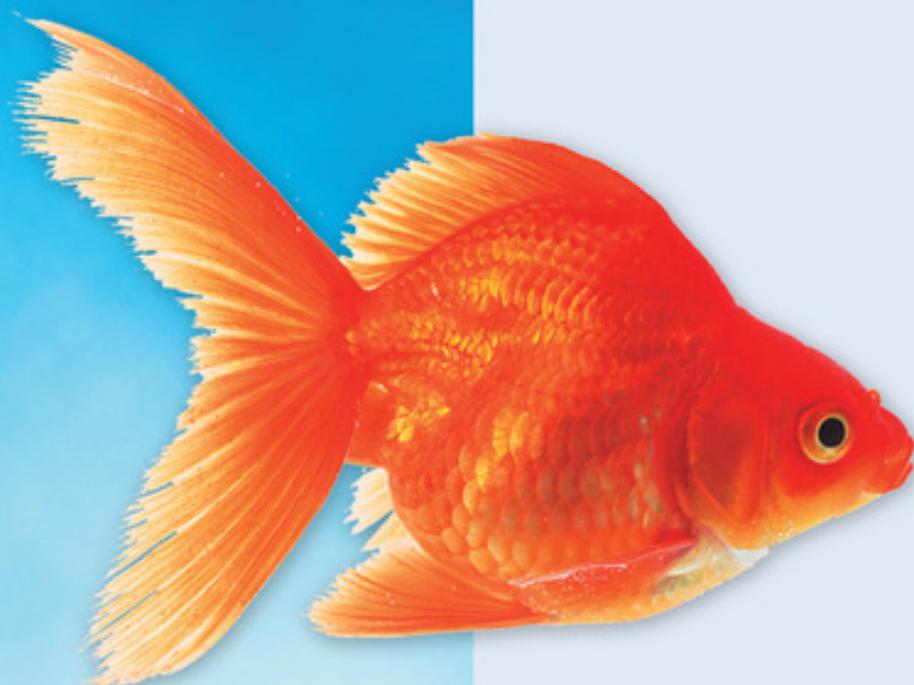


Владимир
МАКАНИН

Лауреат премии «Большая книга – 2008»



**Река с быстрым
течением**

Владимир Маканин

**Река с быстрым
течением (сборник)**

«ЭКСМО»

Маканин В. С.

Река с быстрым течением (сборник) / В. С. Маканин — «Эксмо»,

Рассказы Владимира Маканина глубоки и достаточно лаконичны – вполне для современного читателя, который всегда спешит и не терпит занудства. Маканина много переводят. Но рассказы именно этого тома немецкие критики назвали «фортепианными сонатами». Шедевром назвал рассказ «Человек свиты» Владимир Лакшин. Известный петербургский философ Александр Секацкий вменяет своим студентам изучение рассказа «Антилидер». Спектакль «Река с быстрым течением» четвертый год идет в МХТ им. Чехова.

© Маканин В. С.

© Эксмо

Содержание

КЛЮЧАРЕВ И АЛИМУШКИН	6
1	6
2	8
3	13
4	19
ПОЛОСА ОБМЕНОВ	23
ЧЕЛОВЕК СВИТЫ	37
1	37
2	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Владимир Маканин
Река с быстрым течением (сборник)

Издается в авторской редакции

КЛЮЧАРЕВ И АЛИМУШКИН

1

Человек заметил вдруг, что чем более везет в жизни ему, тем менее везет некоему другому человеку, – заметил он это случайно и даже неожиданно. Человеку это не понравилось. Он не был такой уж отчужденный, чтобы праздновать праздник, когда за стеной надсадно плачут. А получалось именно так или почти так. И ничего переиначить и переменить он не мог, потому что не все можно переменить и переиначить. И тогда он стал привыкать.

Однажды он не выдержал и пришел к тому, к другому человеку и сказал:

– Мне везет, а тебе не везет... Это меня угнетает. И мешает мне жить.

Тот, которому не везло, не понял. И не поверил.

– Ерунда, – ответил он. – Это вещи, не связанные между собой. Мне и впрямь не везет, но ты тут ни при чем.

– И все-таки меня это мучит.

– Ерунда... Не думай об этом. Живи спокойно.

Он ушел. И продолжал жить. И отчасти продолжал мучиться, потому что тому, другому человеку делалось все хуже. А ему везло. Ему всегда светило солнце, улыбались женщины, попадались покладистые начальники, и в семье тоже была тишь и гладь. И тогда он затеял мысленный разговор с Богом.

– Это несправедливо, – сказал он. – Получается, что счастье одному человеку выпадает за счет несчастья другого.

А Бог спросил:

– Почему же несправедливо?

– Потому что жестоко.

Бог подумал-подумал, потом вздохнул:

– Счастья мало.

– Мало?

– Ну да... Попробуй-ка одним одеялом укрыть восемь человек. Много ли достанется каждому? – И Бог улетел. Бог исчез и не дал ответа или же дал такой ответ, который ничего не значит. Он как бы отшутился.

И тогда человек перестал думать об этом – в конце концов, сколько можно думать об одном и том же? В конце концов, это утомляет. Вот, собственно, и вся история.

Но тут важны подробности... Ключарев был научный сотрудник, кажется, математик – да, именно математик. Семья у него была обычная. И квартира обычная. И жизнь тоже, в общем, была вполне обычная – чередование светлых и темных полос приводило к некой срединности и сумме, которую и называют словами «обычная жизнь».

Из этой «обычности» Ключарева выделяло, пожалуй, то, что он был несколько манерно шутлив. Однажды по дороге с работы домой он нашел на тропе, в снегу, кошелек с десятью, что ли, рублями. Он тут же сказал самому себе:

– Поздравляю. Ради этого стоило жить.

Улыбаясь, Ключарев здесь же написал обычное объявление – так, мол, и так, кошелек найден, потерявший – приди. И дописал внизу свой адрес. Бумажку эту он нанизал на гвоздик доски объявлений ближайшего дома. Была зима – чтобы написать и нанизать бумажку на гвоздик, ему пришлось поставить портфель в снег. Нанизанный листочек трепался на ветру, но держался крепко. А в том, что ни сегодня, ни завтра по объявлению никто не пришел, удивительного не было – куда удивительнее было то, что на следующий день начальник отдела,

брюзга, зажимщик и явный недоброжелатель предложил вдруг Ключареву поместить статью в крупный научный журнал. При этом в соавторы начальник не напрашивался. Именно поэтому Ключарев, вернувшись домой, уже с порога сказал жене:

– У меня началась полоса везения.

А жена Ключарева была женщина тихая и скромная, и потому везения, какого бы то ни было, она стеснялась и даже пугалась. Она, например, очень переживала, когда никто не явился за кошельком.

* * *

Вечером, чуть позже, жена сказала Ключареву, что у нее есть новость. Она о ней забыла, но теперь вспомнила.

– А-а, – засмеялся Ключарев, – звонила твоя подруга?

– Да.

– Правда, я смысленный? – Это был шутливый выпад.

Выпад был нацелен в некую женщину, с которой жена когда-то работала и дружила и которая до сих пор по инерции считалась подругой жены. Уже давным-давно они работали в разных местах, и уже давным-давно жена ее не видела. Однако время от времени женщины перезванивались по телефону. Они говорили о детях. Или о покупках. Они перезванивались все реже и реже. Под влиянием времени этот остаток женской дружбы скоро должен был совсем сойти на нет и умереть, но до поры он жил, скрученный в телефонном шнуре.

Жена замолчала – ей было досадно, что дружба с подругой сходит на нет и что над их телефонным общением уже подсмеивается муж. Чтобы смягчить, Ключарев переспросил:

– Что же за новость?

И тогда жена сказала, что у Алимужкина на работе неприятности. И вообще Алимужкин *погибает*, так говорят...

– Алимужкин? – Ключарев никак не мог вспомнить, кто это такой. Он только пожал плечами. Он, в общем, уже привык, что его хлопотливая жена готова заботиться о ком угодно. Но потом вспомнил этого человека. Он видел его дважды.

– Алимужкин – это тот, который был такой остроумный и блистательный?

– Тот самый, – сказала жена.

И тут же она добавила: может быть, Ключарев как-нибудь сходит к нему домой, навестит, вот она записала специально его адрес. Голос жены был вполне серьезен. И даже трогателен. Ключарев машинально взял бумажку с адресом и не сдержался, фыркнул. Женщины – прелесть. Только они могли додуматься до такого. Прийти к малознакомому типу и сказать: «Привет, родной, говорят, ты погибаешь?..»

– Но с какой стати я пойду его навещать? Я видел его два раза в жизни.

– А я видела только однажды.

Что и говорить, это был веский довод.

– Согласись, – продолжала атаку жена, – лучше и удобнее, если его навестит мужчина.

– Лучше или хуже, а я не пойду. Некогда.

Ссоры не случилось. Ключаревы были дружной парой.

Жена даже признала, что хватила, пожалуй, лишнего, посылая Ключарева бог знает куда и зачем. И они заговорили о сыне-девятикласснике: сын делал большие успехи в спорте, а точнее, в спортивной гимнастике.

2

Ключарев забыл бы о странной просьбе жены, но этим же вечером случился еще один телефонный разговор. На этот раз сам Ключарев звонил своему приятелю по имени Павел. Как это часто бывает, фраза из одного разговора переходит и кочует в другой. Жизнь фразы коротка, и похоже, что фраза тоже хочет пожить подольше. И вышло так, что вместо приветствия Ключарев шуточно спросил своего приятеля:

– Ну как жизнь – не погибаешь?

Павел ответил – нет, не погибаю, с чего ты взял? Ключарев засмеялся, пришлось пояснить, что это шутка, это просто так, модное слово. У них есть, к примеру, некий Алимужкин, который погибает.

– Алимужкин? – переспросил Павел. – А я с ним вместе работаю.

– Да ну?

(Тесен мир.)

– В смежных комнатах трудимся. – И Павел добавил, что Алимужкин мужик неплохой, но в каком-то загоне. Что-то с ним стряслось. Совершенно не может работать.

– Почему?

– А шут его знает. Он молчун. Я, честно говоря, молчунов обхожу стороной.

Тут они вполне сошлись, Ключарев тоже не любил молчунов.

– Уж лучше пьяницы, – сказал Ключарев. И тут же вновь припомнил про Алимужкина: – Но, послушай, какой же он молчун, он же был блистательный малый! Он же был так остроумен!..

Павел ответил на это вздохом. А потом ответил глубокой и вечной истиной:

– Был, да сплыл.

В этот же вечер, уже перед сном, Ключарев вышел побродить возле дома – он называл это «проветриться». Он ходил по утоптаным снежным тропинкам, а в голове вертелось: «Был, да сплыл». Возникла вдруг странная мысль: а что, если ему стало везти за счет этого Алимужкина? Он вспомнил о предложении начальника написать статью. Вспомнил о кошельке. И усмехнулся. Мысль, разумеется, была глуповатая. Мысль была секундная и, в общем, игрушечная. Стоял мороз. Над головой были звезды. Он шел, глядя вверх, и думал, что звезд полным-полно, и небо огромно, и звезды эти видели и перевидели столько человеческих удач и неудач, что давным-давно отупели и застыли в своем равнодушии. Им, звездам, наплевать. И не станут они вмешиваться и посылать кому-то удачу, а кому-то неудачу.

* * *

Однако и на следующий день выбросить из головы эту мысль Ключареву не удалось, и вот почему. Он был в гостях у Коли Крымова. Уже в прихожей, снимая пальто, он слышал, как там и сям вспархивали такие вот фразы: «Как? Вы не слышали о новой любви Коли Крымова?» – или так: «Сейчас придет новая любовь Коли Крымова», – или даже так, с оттенком балаганного и шуточного окрика: «Поставьте рюмки. Не трожьте бутылку и потерпите. С минуты на минуту должна явиться новая любовь Коли Крымова», – такие вот носились в воздухе шуточки. Мужчины и женщины были лет тридцати пяти, все они считали, что самый лучший способ общаться и веселиться – это подтрунивать над хозяином. Коля Крымов не возражал, ему даже льстило. И вот она пришла. Фамилия ее была Алимужкина. Она была очень красивая женщина.

Ключарев среди общего шума и гама застолья спросил у Коли – не собирается ли тот жениться? Они были друзьями. Коля Крымов (а Алимужкину в это время наперебой угощали, и какой-то поэт надписывал ей свою книгу стихов) ответил: да, собираюсь.

Коля Крымов любил четкие формулировки. Он сказал, что лишний раз завести романчик – это похоже на разврат. А лишний раз жениться – это похоже на поиск... Как раз выяснилось, что один из гостей перебрал спиртного, и Коля Крымов отправился проводить его и пристроить в такси. Так случился короткий разговор Ключарева с Алимускиной.

Они сидели близко, и меж ними был пустой стул Коли Крымова. Ключарев заговорил с ней от нечего делать. Никаких таких мыслей или мыслишек у него не было. Он спросил:

– Ну что ваш Алимускин?

– Да ну его, – ответила красавица, – твердит одно и то же: погибаю, погибаю...

– Ноет?

– Ныть не ноет, но молчит часами.

Алимускина была как-то дерзко красива. В ней было нечто вызывающее, таких красивых женщин Ключарев не знал никогда, – он видел их, правда, иногда на улице, и они всегда были с кем-то, кто их сопровождал. А иногда сопровождающих было двое.

Получилась пауза, и Алимускина заговорила снова. Ей это ничего не стоило. Язычок у нее был хоть куда, и глядела она смело.

– Сказать вам правду – я разлюбила его. Живу у подруги. Живу сама по себе. Хожу по гостям и развлекаюсь.

Ключарев увидел близко ее глаза. Он спросил:

– А может быть, сначала вы стали жить у подруги и развлекаться, а уже потом он стал погибать?

– Ну что вы! – сказала она. – Как раз наоборот.

И было видно, что она говорит правду.

Больше они не разговаривали, и теперь Алимускина говорила с соседом слева. А Ключарев опять вспомнил ту свою мысль. Он думал так: если бы мне и впрямь везло за счет Алимускина, его жена сегодня бы положила на меня глаз. Случай удобный. Но она положила глаз на Колю Крымова. К сожалению.

* * *

Он ушел с вечеринки несколько подвыпившим и несколько потерянным. Настроение было ни то ни се. Он думал о том, что скажет теперь жене – он ведь не предупредил ее, что задержится. Он вытащил бумажку с адресом Алимускина – это было близко – и... поехал к нему, чтобы дома иметь хоть какое-то оправдание. Алимускин спал. Было начало ночи. Приезд, разумеется, был странен, и Ключарев не знал, о чем говорить.

– Спишь?.. А люди говорят – погибаешь, – сказал он как бы даже с укором.

Алимускин молчал, он стоял совершенно заспанный. Он зевнул. Ключарев почувствовал некоторую неловкость и перешел на «вы»:

– Вы меня, надеюсь, помните. Мы ведь знакомы. В библиотеке виделись. И однажды в компании сидели.

Алимускин кивнул:

– Я вспомнил.

Он был совсем сонный. Спohватившись, он добавил:

– Может, чайку?

– Нет. Я на миг. – Ключарев ответил улыбаясь. Он улыбался как можно дружелюбнее. – Какой там чай. Я и без чая полон по самые уши.

После этого Ключарев ушел.

Когда дома жена стала упрекать, что от него слишком уж несет спиртным, Ключарев рассердился:

– Ну, знаешь! Разве не ты сама меня посылала – разужнай да разужнай?.. Дался мне этот Алимужкин!.. Из-за него я два часа торчал у Коли Крымова (Ключарев более или менее гибко расположил факты), а потом еще пришлось ехать к Алимужкину – малый оказался жив и здоров. В пол-лица румянец. И спит как сурок.

* * *

Ключарев шел по коридору, он отключился от работы на минуту, или на две, или даже на десять минут; он считал, что от этого свежеют мозги, и потому шел легким и звонким шагом. Он проходил мимо дверей большого и хорошо обставленного кабинета – и как раз у дверей стояли *сам* и *зам*. Директор НИИ держал шляпу в руках. Зам был чем-то обозлен и что-то доказывал. А директор посмеивался.

Зам случайно скользнул взглядом по проходящему мимо. И сказал:

– Вот вам Ключарев – и способный, и трудолюбивый, и кандидат наук. А вы все еще держите его в научных сотрудниках.

– Может, это вы его держите, – парировал директор. Он посмеивался.

– Я?

– Конечно, вы, – посмеивался директор.

Ключарев встал в шаге от них. Он не навязывался. Он, в общем, шел своим путем. Однако уйти или пройти мимо, когда о тебе говорят вслух и на тебя смотрят, было как-то неудобно.

– Не надо спорить, – сказал он им сдержанно и негромко. – Это я сам себя держу.

Те заулыбались. Им понравилось, что он не навязывается. Директор сказал:

– Я спешу. Ей-богу, я очень спешу, – и пошел к выходу.

Зам догонял его и говорил:

– Ключарева давно пора сделать начальником отдела.

– Ну и сделайте, – отвечал директор.

Часом позже – и это никак не было связано с разговором директора и его зама, это было совсем с *другой стороны* – Ключарев узнал, что его статья принята журналом и вскоре будет опубликована. А дома вечером жена вновь сказала: «Звонила подруга. Есть новость», – и новость эта состояла в том, что беднягу Алимужкина бросила жена. Она совсем ушла от него. Разменяла квартиру. Воспользовавшись тем, что Алимужкин погибает («Он совершенно безволен! Он все время как заспанный!»), красавица выменяла себе милую однокомнатную квартиру, а полуспящего Алимужкина загнала в какую-то сырую комнатуху. Там он и живет. Там он и погибает, сказала жена, и Ключарев не мог не отметить, что его удачи и неудачи Алимужкина по-прежнему идут бок о бок.

На следующий вечер по телефону пришла еще новость: беда не ходит одна – Алимужкина выгнали с работы. Он что-то там напутал или что-то сделал не так и в придачу выбросил важные бумаги в корзинку для мусора. Они вполне могли отдать его под суд, но пожалели. Они его просто выгнали. Дело было, по-видимому, не в важных бумагах и не в корзинке для мусора, – вялость и бездеятельность Алимужкина осточертели уже всем и каждому, а капля переполнила чашу.

– Чем же он живет? – спросил Ключарев. Он не имел в виду духовный мир Алимужкина. Он имел в виду – на какие деньги.

– Не знаю, – ответила жена. И именно потому, что не знала, она попросила Ключарева зайти к Алимужкину и еще раз поведать. Зайди, сказала, ну что тебе стоит. И напомнила: когда-то давно они вместе видели Алимужкина в какой-то компании, и Алимужкин был самый живой среди всех, он был такой остроумный и блестящий.

Ключарев спросил у жены:

– А если бы он не был остроумный и блестящий, ты бы его сейчас – когда он в беде – не жалела?

– Не знаю.

Ключарев тут же отметил это неуверенное «не знаю» и не без удовольствия сказал:

– А ведь это плохо, моя радость. Ты жалеешь избранных.

Однако женским чутьем она и тут нашла выход. Она ответила:

– Не знаю... Если бы он не был остроумным и блестящим, он был бы каким-то еще. Например, тихим и сентиментальным – такого человека тоже жалко.

* * *

И уже утром зам предложил ему стать начальником отдела. Зам предложил это просто и без всяких условий, а Ключарев отказался – он ответил, что не хочет спихивать начальника, с которым плохо ли, хорошо ли, однако много лет работал вместе. Это было правдой. Однако еще большей правдой было то, что Ключарев не хотел сейчас суетиться – он и без того чувствовал, что он в полосе везения и что блага от него не уйдут. У него было ясное, хотя и необъяснимое, ощущение, что кто-то свыше крепко и уверенно натянул вожжи и правит вместо него, Ключарева, и, уж разумеется, этот, который свыше, промаху не даст, он свое дело знает.

– Странно, – переспросил зам, – значит, не хотите быть начальником отдела? Бойтесь ответственности?

– Да, без хлопот легче. Я и так много работаю.

– Мы это знаем.

– Я много работаю, а большего пока не хочу. – Ключарев позволил себе отвечать резко. Он словно пробовал и проверял на прочность свою удачу. В конце концов, он завтра может сказать: а вот теперь хочу. Дозрел. Согласен.

* * *

Он пришел к Алимужкину. Первое, что он спросил, – как это, друг милый, ты попал в такую конуру? Зачем соглашался разменивать квартиру?.. Алимужкин не ответил. Выглядел Алимужкин плохо. Он был вял и бездеятелен и явно нездоров. Он промямлил, вглядываясь в лицо Ключарева:

– Я... вас не помню.

Потом отвернулся и стал смотреть куда-то в сторону. В точку.

– Помнишь не помнишь – какая разница. Как ты согласился жить в такой конуре?

Алимужкин не ответил. Мозг его работал с некоторым запозданием. Он только-только сообразил и припомнил лицо:

– Вы... Ключарев?

– Да.

Ключарев тем временем огляделся. Он, в общем, знал, что вялый Алимужкин разменялся не лучшим образом, но он и думать не думал, что живого человека могут запихнуть в такую дыру. Комнатушка была мала, ободрана, вся в потеках и без мебели. Поржавевшая кровать да стол. Да один стул. В соседней комнате, как выяснилось, жил одинокий старик, у старика была такая же жуткая комната. Старик был болен, необщителен и глух как пень.

– Он и на кухне со мной не здороваются, – вялым голосом сообщил Алимужкин. – Молчит.

– Ты тоже не слишком говорлив.

– Да...

Пауза получилась долгая и тягостная.

– Так и живешь? – Он кивнул – да... – Куда-нибудь ходишь?

– Никуда.

– Но, прости, на какие деньги ты ешь и пьешь?

– Остались какие-то рубли. Я их доедаю.

– А дальше?

Пауза получилась еще более долгая. Наконец Алимешкин вместо ответа тихо сказал:

– Я, – и он посмотрел на Ключарева (не станет ли он смеяться), – я шахматами занимаюсь...

Ключарев не засмеялся, он сказал:

– Это хорошо.

– Вот. – Алимешкин показал глазами на маленькие шахматы. Доска была потертая. Фигурки были расставлены. – Я когда-то играл. В детстве...

– А с кем играешь?

– Ни с кем. Я так... Сам с собой. Анализирую.

Ключарев предложил сыграть, говорить было не о чем. Алимешкин играл очень слабо. Ключарев сыграл с ним несколько партий и ушел. Настроение было паршивое: Ключареву было бы легче, если б Алимешкин играл хотя бы средне.

3

Случилась там и такая минута – это была минута особенная. В одну из тягостных пауз Ключарев подумал: как же это так вышло, что жизнь человеческая пошла под откос ни с того ни с сего?.. Ключарев был неглуп и понимал, что случившееся с одним может случиться и с другим. Люди именно так и рождаются. Люди именно так и умирают... Что с одним, то и с другим... Он спросил Алимущкина:

– Скажи, как с тобой все это стряслось?

Алимущкин молчал, он не совсем понимал, о чем речь. Но потом постарался понять (на лице его было заметно усилие) и ответил Ключареву: нет, ничего особенного не случилось и не произошло, почувствовал, что погибаю, вот и все.

– Это началось, когда ушла жена?

– Нет... Раньше.

– А-а, – как бы оживился Ключарев, – это началось у тебя с неприятностей на работе.

– Нет...

– С чего же началось?

– Не помню.

Ключарев проявил нетерпение. Несколько раздраженно он заговорил:

– Но не может же все рушиться ни с того ни с сего. Вспомни. Напряги память. Это и мне важно. Это и всякому важно – с чего началось?

Алимущкин потер лоб. Поморщился:

– Нет... не помню.

Пора было уходить, потому что пауза теперь шла за паузой. Ключарев поискал там и сям взглядом – чайник был. Но в баночке рядом было так мало заварки, что о чае он не заикнулся. Вот тут он и предложил Алимущкину сыграть в шахматы. Ключарев легко выиграл раз, другой и третий. И поднялся, чтоб уйти:

– Пока...

Алимущкин тупо смотрел перед собой. Потом вяло потянулся за ручкой – он хотел записать последнюю партию и поискать свои ошибки.

– Говорят, это полезно, – промямлил он.

* * *

Он именно так и промямлил: «Говорят, это полезно», – и эти слова, подчеркивая его общую куда бульшую бесполезность и пустоту, повисли в ушах у Ключарева. Слова были неотвязны. И потому, когда Ключарев пришел домой, он решил не говорить жене правды. Это удалось без труда, потому что жена была занята сыном и дочкой – она вправляла детям мозги за какие-то прегрешения. Ключарев сказал как бы между прочим:

– Был у Алимущкина. Ты знаешь – он совсем не так плох. Разговорчив. И совершенно спокоен.

– Да?

– Он решил всерьез заняться шахматами. Чуть ли не посвятить себя им.

– Слава богу, я за него рада.

– Скоро мы услышим о гроссмейстере Алимущкине.

Когда тебя слушают непридирчиво, говорить легко. И Ключарев сказал еще, на всякий случай не без торжественности в голосе:

– Уважаю людей, которые начинают жить сначала.

* * *

Везение продолжалось, и теперь оно напоминало вора наоборот. Антивора. Ты прикрываешь левый карман, а оно сует тебе в правый: «Бери, дорогой, не жалко; бери, этот час твой». На работе все охотно заговаривали и охотно улыбались Ключареву. О нем говорили – перспективный человек. И зам улыбался. Зам сказал, так, мол, и так: повысим мы вам, Ключарев, оклад на восемьдесят рублей.

– Спасибо.

– Я сам за вас ходатайствовал. Директор поддержал. Для начала повышаем оклад на восемьдесят рублей.

– Спасибо.

– Мы ценим хороших сотрудников. Тем более скромных.

И зам добавил (доверительно – не всякому так скажет):

– Некоторые люди расталкивают других локтями. Интригуют. Лезут по головам, чтобы сесть в мягкое кресло. Я не люблю таких.

Получасом позже позвонила Алимущкина, она каким-то образом узнала служебный телефон и сразу попала на Ключарева. Позже она сказала, что списала телефон потихоньку у Коли Крымова. Ей почему-то казалось, что это нужно сделать потихоньку.

Она поздоровалась и пригласила Ключарева в гости. Она не очень церемонилась, потому что она была красивая женщина и знала это. Она не слишком подбирала фразы, не смущалась:

– В тот вечер, – и она сделала паузу, это была характерная пауза современной женщины, – вы мне приглянулись.

– Да ну?

– Честное слово. Приходите, пожалуйста, ко мне в гости. Сегодня.

Он пришел и вовсе не обалдел от ее голоса и от ее глаз: он не любил красивых женщин, он их никогда не знал. Так ему было легче и удобнее жить. Он сидел в кресле и рассматривал ее квартиру – квартирка была миленькая. Мебель тоже была чудо. Ключарев спросил:

– Разве вы не выходите замуж за Колю Крымова?

Этот вопрос значил: «Вы меня позвали – это ваша прихоть или же маленькая тайна за спиной Коли Крымова, и вообще, что это за такая игра, которую мы начали?» Но Алимущкина ответила просто:

– Нет. Замуж я не выхожу.

– Почему?

– Он мне не нравится. Он никакой. Он ни-кчемный.

– Сделайте его таким, каким надо.

– Не хочу тратить силы. Зачем?

Ключарев не начал милый и шуточный разговор, который привел бы куда надо и куда прийти ему, в общем, хотелось. Вместо всей этой ясности Ключарев повел себя неясно. Он повел себя незапрограммированно. Он вдруг рассердился на Алимущкину – сказал ей довольно грубо, что Коля Крымов очень даже «кчемный» человек. И что брошенный Алимущкин тоже «кчемный» человек. И что ей надо выходить замуж, а не дурить самой же себе голову. Он говорил и сам понимал, что говорит глупости и чепуху. Как-никак она была женщина, и у нее было право выбора.

В портфеле, который он не открыл, лежали две бутылки вина. Он принес их специально. И знал, зачем принес. Но на него нашло и накатило, и вот он говорил теперь глупости. Он талдычил ей одно и то же – выходите замуж. И она была абсолютно права, когда сказала (он уже уходил и стоял в дверях):

– Какой вы скучный – помереть с вами можно.

* * *

От слишком большого везения жена Ключарева тоже была несколько не в себе. Она испугалась. В ней это выразилось в затаенном ожидании каких-то бед или неприятностей, которые вот-вот могут нагрязнать. Она (не называя, словом, истинной причины) решила вызвать свою мать – стало быть, тещу Ключарева, – пусть, дескать, погостит. Пусть поживет у нас. Вдруг кто-то заболит. Или еще что-то случится, проговорила она.

– Но почему должно что-то случиться? – засмеялся Ключарев.

Ключарев смеялся, он опять был прежним, веселым и шутливым. Ему было смешно и забавно, когда он вспоминал, как он вел себя и что говорил у красивой женщины, пригласившей его домой. «Эх, ты!» – подсмеивался он. Он вспоминал ее щеки и губы, и по позвоночнику полз сладкий холод.

Жена позвонила ему на работу (со своей работы):

– Ты слушаешь? Только что звонила моя подруга. Опять об Алимужкине.

– Погибает?

– Перестань дурачиться.

– Что-то очень долго он погибает – мне уже иногда кажется, что он бессмертный.

– Перестань... – И жена заговорила в трубку шепотом. Она смутно чего-то побаивалась и потому шептала мужу: – Милый, будь осторожнее. – И еще шептала: – Милый, не говори о людях небрежно, милый, если бы ты хоть чуточку больше думал о людях, я знаю, ты добр и искренен, но если бы ты еще думал о людях... – Так она шептала. Кончилось это просьбой – еще раз навестить беднягу Алимужкина, такая вот вновь возникла у нее мысль.

А у Ключарева возникла совсем другая мысль – как бы это заткнуть рот подруге жены: чего она без конца треплется, чего она лезет?..

– Привет, – сказал Ключарев. После работы он (так уж и быть) пришел к Алимужкину, но на приветствие никто не ответил.

Ключарев вошел в комнату – и лицо у него вытянулось. Лицо у него приняло выражение, соответствующее беде, потому что Алимужкин лежал в постели. И потому что рядом с ним белым пятном стоял человек. Врач.

– Не разговаривайте с ним, – сказал врач. – Он не может разговаривать. У него инсульт.

Врач пояснил – инсульт, или «удар», не из самых сильных, но все же это инсульт. Он сказал, что нужен покой. Нужна тишина. Нужен уход.

– Нет-нет, – прикрикнул врач, – вы, Алимужкин, молчите! Вы уж не разговаривайте. Все равно не получится.

Ключарев спросил:

– Отнялась речь?

– Временно.

– И передвигаться не может?

– По стеночке до уборной он доберется, но никак не дальше.

Ключарев подошел к Алимужкину ближе, он шел и осторожно ставил ноги, потому что по полу сновали тараканы. В комнате было мрачно. Алимужкин улыбнулся – улыбка у него была половинчатая, на одну сторону, мышцы лица на другой стороне бездействовали... Ключарев подморгнул: привет, эх тебя угораздило. Алимужкин протянул ему руку. Ключарев пожал.

Врач был, вероятно, из «Скорой помощи». Он рылся в бумагах на столе. Потом сказал:

– Помогите-ка мне. Вы ведь его приятель?

– Да.

– Здесь, в этих бумагах, должен быть адрес его матери.

– Матери? – удивился Ключарев.

– Должен же за ним кто-то ухаживать.

– А больница – почему не в больницу?

– Больница ничем особым ему не поможет. Да и транспортировать его в таком состоянии бесполезно.

Ключарев кивнул: понятно. Как и все люди, Ключарев полагал, что с врачами не спорят. Он переспросил:

– Значит, вы вызовете сюда его мать?

– Не я. Вы. – И врач, словно он тоже считал, что Ключарев виновен перед беднягой своими удачами, сурово посмотрел на него. Так Ключареву казалось. Хотя это был обычный взгляд загнанного и задерганного за сутки врача. – Вы вызовете. А мне надо идти. Я дважды уже присылал сюда сиделку. Сейчас она дежурит у более тяжелого.

Ключарев кивнул. Он нашел адрес и отослал многословную телеграмму в Рязанскую область. Почта, на счастье, оказалась в двух шагах, и никакой такой очереди у окошка не было. Ключарев отметил с горькой усмешкой – везет, мол, этому Алимущкину.

Когда Ключарев вернулся с почты, врача не было. Алимущкин извинился за возникшие хлопоты, извинился жестом руки: прости, дескать, пришлось тебе похлопотать. Жестом же он предложил: давай, мол, в шахматы, если не торопишься. Алимущкин сам дотянулся до них рукой, шахматы стояли у изголовья. Ключарев почти не глядел на доску. Он передвигал фигуры и глядел на пол, где бегали лакированные тараканы.

* * *

Сразу же после Алимущкина Ключарев зашел к подруге жены – он ее отыскал. Адрес был записан на листочке: Малая Пироговская, 9, кв. 27. Этот адрес Ключарев нашел в записной книжке жены. А записную книжку он потихоньку выудил у жены в сумочке... Теперь он пришел и назвал себя: здравствуйте, я Ключарев. Вы ведь дружны с моей женой много лет – верно? – а с вами мы, как ни странно, незнакомы.

Такой у Ключарева был тон, почти дружеский. На самом же деле он был сильно раздражен, и это вот-вот должно было всплыть на поверхность. Пока еще было начало разговора.

– Очень приятно, – сказала подруга жены.

Она была полная, даже пышная медлительная женщина. Ключарев подумал, что ей только и сидеть у телефона сутками напролет. С такими формами и с таким задом. Это он уже начал раздражаться.

– Извините меня, но я буду с вами резок. Мне надоела ваша телефонная суэта.

– Что? – Она не понимала. Она была медлительна.

Ключарев, стараясь сдерживать себя, пояснил:

– Прекратите звонить моей жене насчет этого несчастного Алимущкина. Перестаньте ее нервировать и дергать. Имейте совесть. Имейте снисхождение к обычной и в меру счастливой семье, которую незачем перегружать всеми бедами и всеми горестями, какие только есть вокруг.

– Но я не думала, что эти звонки...

– А думать нелишне. Это так просто понять – вы же не даете ей жить спокойно.

Подруга жены молчала, она растерялась. Ключарев еще раз извинился за резкость.

Потом спросил:

– Вы к нему заходите, к Алимущкину?

– Очень редко.

– Вот и продолжайте его иногда навещать. А нас оставьте в покое – ясно?

Подруга жены была заметно обижена. Медлительная и толстая женщина, она обожала говорить по телефону, а теперь у нее отнимали такой повод для звонков. К Алимущкину она

была вполне равнодушна, но ведь должны же люди, и тем более подруги, о чем-то говорить, и должны же они общаться.

Ключарев объяснил ей еще раз:

– Поймите, из-за ваших звонков жизнь моей жене не в жизнь и радость не в радость. Человек хочет жить и радоваться жизни, а вы мешаете. У нас и без Алимущкина полным-полно друзей и родственников, которые тоже болеют...

Он все сказал. И теперь ждал ответа. Наконец та, поджав губы, выговорила:

– Больше я не буду звонить.

– Э, нет. Так дело не делается.

– А как же?

– Вы позвоните ей еще раз и успокойте. Сочините ей что-нибудь приятное. Скажите, что Алимущкин выздоровел, что он бодр и весел. Что все хорошо. И что Алимущкин уезжает... ну хоть на Мадагаскар в длительную командировку.

– На Мадагаскар?

– Ну например. Чтобы закрыть, так сказать, тему. Чтобы моя жена больше о нем у вас не спрашивала, – вы меня поняли?

– Да.

– Я уйду, а вы ей позвоните, – вы меня действительно поняли?

– Да.

– Всего вам хорошего.

Он ушел. На улице сыпал снег. Снег сыпал теперь и утром, и вечером.

* * *

Когда Ключарев пришел к нему на другой день после работы, Алимущкин уже лежал пластом – без движения и без языка. Увидев Ключарева, Алимущкин начал хватать ртом воздух – он хотел сказать что-то приветственное, а улыбнуться не мог. Теперь и полуулыбка у него не получалась. «Удар у него опять был. Врач сказал – сильный», – лепетала суетившаяся возле Алимущкина тихая рязанская старушка.

Это была его мать, прибывшая по телеграмме. Ключарев утешал ее. И еще он дал ей некоторую сумму денег на всякие там расходы. Старушка закивала головой, как болванчик, и заплакала – «Спаси тебя бог, милый». Ключарев ушел, а она осталась сидеть возле сына. На голове у нее был белый платок в горошек. Старушка сидела как застывшая. Она не понимала, что же это за беда и что же это за горе такое, если ее сын, такой сильный и такой веселый и «уже выучившийся на инженера», лежит теперь пластом и не может сказать ни слова.

Ключарев вовсе не хотел избавить себя от того, чтобы думать и помнить об Алимущкине. Он хотел избавить от этого жену. Она была слишком уж нервной и слишком чуткой. Ключарев решил, что болезнь затяжная, и решил, что будет время от времени Алимущкина навещать, а жене не скажет.

* * *

Он не сказал, и его не спросили, потому что в доме были шум, и гам, и суета, и сторонние разговоры: приехала теща. Она прибыла довольно торжественно. Был подарок жене Ключарева. Был подарок сыну Ключарева. Был, разумеется, подарок и дочери Ключарева. Подарки были не очень дорогие, но выбранные с любовью.

А на другой день лукавить с женой нужды уже не было. Потому что она сама сказала:

– Прости, что я тебе надоедала и посылала к нему.

– К кому? – поинтересовался Ключарев.

– К Алимужкину...

И жена радостно сообщила, что звонила подруга и что наконец-то новости хорошие – у Алимужкина все наладилось. Алимужкин опять бодр. Алимужкин опять остроумен... Жена стала рассказывать подробности. Эти подробности были любопытны и даже в некотором роде изысканны, потому что подруга – любительница телефона – постаралась на совесть. Она вложила душу, и старание, и даже талант в последний всплеск темы, которую приходилось закрыть. И теперь жена Ключарева эти подробности пересказывала. Она была радостна. Она улыбалась. Она говорила и говорила. А Ключарев слушал. Он слушал вполне заинтересованно. И даже переспросил:

– Куда, ты сказала, он отбывает в командировку?

– На Мадагаскар...

И теперь Ключаревы заговорили о другом, тем более что тема была и волнующая, и куда более близкая. Сын-девятиклассник на соревнованиях взял первое место почти на всех снарядах. На перекладине он получил *девять и семь* – удивительный результат для юноши. Им заинтересовались известные тренеры. Молодого Дениса Ключарева собирались послать на обще-союзные соревнования.

– Молодец, сын! – так сказал Ключарев.

Жена, конечно же, восторгов не проявила, более того, в глазах ее мелькнул знакомый Ключареву испуг – как бы чего не случилось? Перекладина – снаряд опасный. Но сын тут же вмешался в разговор и успокоил ее: не робей, мама, зачем мне, мамочка, срываться с перекладины, у меня же за это два балла снимут? И засмеялся. Он держался гордо. И в то же время весело. О нем так и хотелось сказать – Ключарев, сын Ключарева.

4

В пятницу Ключарев дал согласие заму. Он дал согласие в общих словах, но, по существу, это уже значило «да». И вот зам водил Ключарева из комнаты в комнату: ну как вам будущие сотрудники? Нравятся?

– Нравятся, – отвечал Ключарев. В институте формировался новый отдел: он получался из слияния двух лабораторий и еще каких-то разрозненных научных сотрудников. Отдел формировался заново, и Ключареву, чтобы сесть в начальники, не надо будет кого-то спихивать или через кого-то перешагивать.

Сейчас он думал именно об этом. А зам говорил о том, какой это будет замечательный отдел. Мощный. Современный. И, надо полагать, дружный, – вы слышите, Ключарев?

Ключарев сказал:

– Как же не слышать, вы это в третий раз говорите.

– Я и в сотый скажу, – зам засмеялся. – Я вас соблазняю.

– Я уже соблазнен.

– А я вас соблазняю и дальше, чтобы не передумали.

– Справлюсь ли?

– Ну-ну. Перестаньте!

Продолжая фразу, зам на ходу пожал руку одному из сотрудников и добродушно подмигнул: работайте, дескать, работайте, я вас отвлекать не буду. Он кивнул еще двум сотрудникам. И еще одному пожал руку. Они с Ключаревым шли вдоль рабочих столов и негромко разговаривали:

– Подберите себе хорошего секретаря. Видите вон тех трех девушек?

– Да.

– Обратите внимание на ту, рыженькую.

– Та, что с постным лицом?

– Да. Умная. И старательная. Все дела и все бумаги у вас будут в полном порядке.

– Спасибо.

Они разговаривали негромко. Потом они вышли в коридор.

– А теперь в шестую лабораторию, – сказал зам.

По пути в шестую лабораторию Ключарев на минуту остановился и закурил. Он хотел «что-то» сказать и считал, что лучше это сказать сразу. Лучше раньше, чем позже.

– Маленькая справка, – так он начал. – Когда человека кто-то двигает вверх, то потом этот кто-то садится своему выдвиженцу на шею. Со мной это не пройдет.

Зам засмеялся:

– Вот и прекрасно. Будь самостоятелен.

– Я не шучу.

– И я не шучу.

Зам потрепал Ключарева по плечу:

– Не робей заранее. К тебе на шею никто не метит. Во всяком случае, не я.

Зам был веселый и шуточный человек. Ключарев тоже был веселый и шуточный человек. Такие люди всегда договаряются. Просто Ключарев считал, что в эту минуту ему надо быть начеку.

* * *

Когда Ключарев вернулся домой, здесь уже все всё знали, – и в прихожей, и в комнатах почти физически ощущалось настроение небольшого семейного праздника. Звонил уже Коля

Крымов и поздравлял. Звонил Павел, тоже поздравлял. Выяснилось, что и Коля, и Павел, и другие знакомые сегодня нагрянут в гости. Теща сияла. Ей нравилось, что Ключаревы пошли в гору.

– Накормлю вас сегодня пищей богов! – объявила теща.

И действительно, она смоталась в «Дары природы» и привезла оленью ногу: это выглядело очень внушительно. Зажаренная, истекающая соком, багряно-красная нога на белом огромном блюде должна была произвести неотразимое впечатление. В духовке ногу жарили минут сорок. Перед этим ее целиком обмазали сливочным маслом, чтобы выступающая от жара оленья кровь образовала румяную и бередящую душу корочку. Нога была готова. Ключарев сходил за вином. Он вернулся, и как раз позвонила Алимужкина.

Теща была недовольна. Ключарев пошел к телефону, а она считала, что он должен успеть натереть пол и, уж во всяком случае, должен открывать бутылки – это же первейшее мужское дело.

Алимужкина сказала:

– Хочу вас поблагодарить. – И она объяснила, за что именно она благодарит Ключарева: за то, что он дал ей совет не разбрасываться и выходить замуж. Она действительно как бы прозрела и уже нашла симпатичного мужчину, он доктор наук и не очень стар. Он очень добр. И очень ее любит... Она говорила с еле уловимой иронией, и Ключарев понимал, куда дует ветер. Это было нетрудно понять.

Он сказал:

– Рад за вас.

В это время теща сказала:

– Что это он без конца треплется по телефону!

А жена объяснила:

– У него дела, мама.

– Знаю я эти дела.

– Мама!

Ключарев продолжал:

– Рад за вас. – И он засмеялся. – Стало быть, я больше не нужен?

– Ну почему же?.. – В голосе красавицы появились чуть дергающиеся нотки. – Вы меня щелкнули по носу и правильно сделали. Я это оценила. Я даже поумнела. Но ведь в будущем... мне могут понадобиться и другие советы.

– Мои?

Теща сказала:

– Он думает, я не догадываюсь, о чем у них идет речь.

– Мама, не будь мнительной.

– А ты не защищай его. Чего он треплется – лучше бы полы натер.

– Мама!

Алимужкина сказала:

– Я бы очень хотела иметь умного друга. И тут нет ничего особенного – просто умный и верный друг, да?

– Да, – Ключарев улыбнулся. – Да-да, умный и верный друг. Как в кино.

– Это он себя называет умным?

– Мама!

– Я не собираюсь в ближайшие дни зазывать вас в гости, но все-таки... вы будете иногда ко мне приходиться, необязательно вечером, хотя бы в будние дни, хотя бы раз в месяц, да?.. А иногда (нечасто) я буду вам звонить. И спрашивать умного совета – можно?

– Звоните, – сказал Ключарев.

– Пусть звонит. Пусть. Однажды ее милый голосок напорется на меня – и тогда она свое получит.

– Мама! Как тебе не совестно! Почему ты обязательно думаешь, что ему звонит женщина?

– А почему я должна думать, что звонит мужчина?

* * *

Гости съехались. Они пришли – кто поодиночке, кто парами – с вином в портфелях и со всякими добрыми словами в душе. Жена Ключарева вела их к столу и усаживала, она всем улыбалась. Она уже не боялась нахлынувшего счастья, и ей уже не казалось, что боги разгневаются и что-то случится. Она уже привыкла.

Именно эту перемену Ключарев уловил на ее лице. И потому (а все вокруг шумно поздравляли его с удачей), когда дали сказать ему, он стал над женой подтрунивать.

– Удача – вещь хорошая, – сказал он, подняв высоко рюмку, – но быстрее всех привыкает к удаче тот, кто ее боится.

Он повел глазами в сторону жены. Все засмеялись.

– И молодец, что привыкает! – выкрикнул кто-то.

– Не спорю. Молодец... Но она уже привыкла, и теперь ей опять будет маловато. И теперь она опять будет хотеть новых удач – так устроен человек...

– Не буду, – сказала жена со смехом. – Не буду хотеть. Я их боюсь.

Все засмеялись. И закричали:

– Будешь! Будешь! Будешь хотеть новых удач!

И стали чокаться, когда Ключарев предложил тост, а тост звучал так: «За то, чтобы удачи были у всех!» Потом пили и ели, а в конце вечера жена Ключарева стала показывать фотографии, на которых был изображен Денис, делающий сложные упражнения.

Фотографии пошли по рукам, это были действительно впечатляющие фотографии. Одна из них на века запечатлела Дениса на перекладине в момент наивысшего взлета. Сын застыл на вытянутых руках, нацелив вертикально в небо стройные ноги гимнаста. Упражнение называлось «солнце». Жена Ключарева показывала фотографии впервые. Раньше ей казалось, что, показывая такие фотографии, искушаешь судьбу.

Гости разъехались – гости были довольны хозяевами, а хозяева гостями. Теща и жена убрали посуду. Теща малость перепила и что-то напевала.

* * *

Ключарев с женой лежали в постели и потихоньку на сон грядущий говорили о всяких неважных вещах. Сначала зевнул он, потом зевнула она. Дети спали. Была ночь.

– Значит, уезжает? – спросил Ключарев про тещу.

И опять зевнул.

– Уже купила билет.

– Самолетом?

– Почему тебе всегда хочется, чтобы мама летела самолетом?

– М-м... Комфорт. Скорость.

Они помолчали. Потом Ключарев сказал – завтра он пойдет в библиотеку, возьмет заказанные книги и завтра же, пожалуй, заглянет к Алимускину. Интересно, как он там поживает.

– Зайду к нему завтра. Проведаю.

Жена сказала:

– К Алимускину можешь больше не ходить. Звонила подруга – он улетел на Мадагаскар.

– Уже улетел?

– Да.

– Когда?

– Она сказала, в десять часов утра. Она сказала, передай мужу, что Алимешкин уже улетел. И что его *проводила* мать.

Ключарев промолчал. Потом он вдруг захотел покурить и пошел на кухню, а жена уже спала.

ПОЛОСА ОБМЕНОВ

Жена говорит однажды, что не худо бы обменяться – хорошо бы, а? – и вот уже Ткачев к этой мысли постепенно привыкает. Потому что, если тебе что-то говорят весело и по-доброму и внутри никаких таких шипов, ты обязательно захочешь к сказанному привыкнуть. Во всяком случае, сделаешь попытку.

– Хочу нашу двухкомнатную, – говорит жена, – поменять на трехкомнатную.

Она улыбается. Она продолжает:

– И чтоб обязательно комнаты были не смежные, как у нас, а отдельные.

– Это что – мечта?

– Пусть мечта... Как-никак надо думать о будущем: Машенька подрастает. А годы знаешь как бегут?

– Да... Машке четырнадцать.

– Четырнадцать или пятнадцать – разве дело в цифре?... Она любит одна посидеть, закрывает свою дверь. Между прочим, собираюсь ей лифчик покупать.

– Дело серьезное.

– Ничего смешного тут нет.

– Я не смеюсь.

– Кроме того. Мы иногда сможем принимать людей по-человечески, то есть в комнате.

А не на кухне.

Жена говорит убедительно, как и положено говорить жене. Причин, чтобы улучшить жилье, немало – и все они, в общем, понятны с полуслова. Еще больше, чем причин, оказывается следствий, таких маленьких симпатичных, греющих сердце следствий, которые сами собой вытекают из улучшения быта. Потому что три комнаты – это три комнаты. И лучше эту мысль не выразить.

И вот Ткачев привыкает.

«Об-ме-нять-ся, – вразяжку повторяет он про себя, привыкая и к слову и к смыслу. – Обменяться... Пустячок, а ведь как волнует», – думает Ткачев. И это он уже осаживает себя, подсмеивается.

Но осадить не удастся. Радость берет свое.

– Как тебе пришла славная такая идея? – спрашивает он жену. И смеется. И разглядывает ее внимательно.

И опять спрашивает:

– Послушай, как это тебя осенило?!

И даже позволяет себе незапланированно ее потискать. Так, между делом.

Жена сияет. Не от тисканья, конечно (это ее раздражает). А от похвалы, которая вырывается невольно и даже с недоумением, – стало быть, самой лучшей похвалы. Самой искренней.

* * *

Дело в том, что Ткачевы – и он и она (каждый на своей работе) – продвинулись, или, лучше сказать, переместились вверх. Они нешибко продвинулись, на ступеньку. Но все же. И денежки скапливались, хотя и медленно – жена хотела купить какую-то там хельгу, гонялась за ней, стерегла, но вдруг голос свыше ей шепнул: не надо хельгу, надо квартиру. Приплюсовать денежки, пока они в руках, к имеющейся двухкомнатной и обменяться на трехкомнатную. Какая мысль!

– Ты спишь? – спрашивает Ткачев жену.

– Нет.

Но она спит, он это слышит.

А он не спит. И лучше других, может быть, осознает он сейчас, что никакая это не мысль, а если мысль, то суетная и мелкая, не переменит она ни жизни, ни судьбы, – и тем не менее нервишки натягиваются. Вот и слева прижало, не продохнуть. Сердце покалывает, а ведь лет ему едва-едва сорок. Ткачев вздыхает... Но капель он, конечно, не принимает, и ничего не глотает, и вообще обходится без ночной возни. Жена даже не замечает. Спит.

Конечно, люди и вчера менялись квартирами, и позавчера; но почему-то сегодня эта толпа меняющихся напоминает Ткачеву о людской слабости и жалкости. О растерянности перед жизнью. И о прочих таких же качествах... О том, что человек уже перестал ждать от себя и стал ждать от случая. И, значит, дошел до точки своей. Лез в гору, старался, карабкался, а дальше лезь не лезь – выше не влезешь, ну и, конечно, человек и грешен, и тоже машину хочется, и вот уже стоишь за билетиком «Спортлото». «Вы мне, пожалуйста, про клеточки объясните. Что тут положено зачеркивать?.. Ах, так. Ну спасибо. Я, видите ли, первый раз».

И вот к этим-то людям придет он, Ткачев, – придет, как приходит человек с деньгами. Он – это не вы. Он, видите ли, доплачивает. Брр. И впрямь, как купец, который в гору пошел...

– Вздор-то какой в голову лезет, – вырывается у Ткачева.

– Приснилось что-то? – спрашивает жена.

Все это уже утром.

– Да. Муть какая-то.

* * *

Приятно утром, когда идешь на работу, долбить себя и высмеивать за ночные мыслишки. Приятно идти и думать: вот ведь солнышко, а впереди майские деньки с лендой, и что еще человеку надо?.. Господи, уже и захотеть в жизни чего-то нельзя. Только захотел или пожелал чего-то – и уже ешь сам себя поедом. И что же мы за люди такие. Ведь он, Ткачев, не ловчить собирается, он просто и спокойно и честь по чести: об-ме-ни-вать-ся... Свою-то кровную, кооперативную, он ведь отдаст.

И тут Ткачеву уже ничего не остается, кроме как почувствовать себя в полную меру собственником двухкомнатной своей квартиры. И он это чувствует. И говорит:

– Ну разумеется, собственник, и ничего тут скверного... Я ж ее горбом заработал. Я ж работал, не мух ловил.

И, сплюнув на асфальт, добавляет:

– Мне же ее не дядька подарил.

Волнуемый этим чувством (свежим для него), Ткачев вступает в разговор Корочкина и Вани Зуева – оторвавшись от программирования очередной задачи, Ткачев быстрыми шагами подходит к ним, к знатокам жизни. Но сдерживается. Молчит минуту. И все-таки встречается.

– Собираешься обмениваться?.. А что у тебя? – лениво спрашивает его Корочкин.

Ткачев отвечает. Так, мол, и так.

– Понятно... А что, собственно, ты имеешь?

– Я же сказал – я буду доплачивать к своему паю.

– Ясно... А что ты по существу имеешь? – нажимает на слово Корочкин.

– Как – что?

И Ткачев чувствует, что у него сейчас, должно быть, очень глупое лицо. Знать-то в этих делах он еще ничего не знает, а вот ведь высунулся. Поспешил. Не сидится собственничку.

Корочкин старается ему помочь:

– Ну а все-таки – почему ты считаешь, что с тобой кто-то станет меняться?

– Почему?

– Ну да – почему?

Чтобы не чувствовать себя совсем уж идиотом, Ткачеву пора неопределенно пожать плечами и усмехнуться. Что он и делает. Он пожимает плечами. Дескать, мало ли. Мало ли почему люди меняются.

Ваня Зуев (он пока молчал) спрашивает:

– У тебя кооперативная?

– Да.

– Какой взнос?

Ткачев отвечает – так, мол, и так.

– Ну вот, – растолковывает вместо Ткачева медлительный Ваня Зуев, – у него *дешевая* квартира.

И ясность приходит.

– Знаю. Знаю эти дома, – тут же кивает Корочкин. – Дерьмо, а не квартиры.

– Дерьмо, – подтверждает Ваня Зуев.

– Что ж, тогда это реально. У тебя ведь и балкон дерьмовый.

– И кухня – дерьмо!

Ткачев не сразу даже понимает, что они таким вот уничижительным способом хвалят его идею. Считают ее реальной. Оба они – самые практичные люди их отдела – емким этим словом поощряют Ткачева и прозревшую на обмен его жену. Напутствуют. И желают удачи.

И ванная, и качество пола, и планировка комнат, и унитаза, и двери, и плинтусы – все дерьмо.

* * *

Дома Ткачев сообщает жене, в чем, как оказалось и как выяснилось, они живут столько уже лет, и жена отвечает – да, она знает.

– Давно ли? – интересуется Ткачев.

– Сегодня узнала.

– И тоже на работе?

– Да.

– Именно так и говорили – дерьмо?

– Так и говорили.

И Ткачевы поздравляют друг друга с этим небольшим бытовым открытием. И тут надо отметить, что Ткачев слегка обижен. Он обходит неторопливо нехитрое свое жилье, свои углы и как бы осматривает жилье и углы заново. Их комната и комната дочери Машеньки соединяются через дверь – Ткачев и туда входит. Дочь делает уроки. Пишет. Увидев отца, она обрывается на полупhrазе и чертит на листке какие-то рожицы.

– Мешаю тебе? – спохватывается Ткачев.

– Нет-нет.

– Уроки делай! – строго говорит он и идет назад.

Он мерит шагами кухню и коридор; он осматривает – квартира как квартира. Конечно, не ах. Видал он, конечно, и лучше. Но раньше в нем, в Ткачеве, это чувство спало; спало и видело сны. И вот разбудили его, растолкали без причины и без особой нужды, а только потому, что все равно однажды тебя растолкают, в тебе это разбудят. Если, конечно, ты не дашь дуба в молодые годы. А ты уже не дашь.

И теперь каждый день приносит им какое-то ценное знание.

Ткачев, к примеру, узнает, что существует обменбюро и что надо встать на учет, а жена узнает про объявления на столбах. И так далее. Познанию нет конца. Но, разумеется, повторения тоже бывают: и теперь вот уже Ткачеву рассказывает кто-то про объявления на столбах, а

жене – про обменбюро. Оказывается, все всё знают. И уже более или менее ясно, что Ткачевы идут по дороге, по которой идут толпы, и что наслежено и натоптано там так, как и должно быть наслежено и натоптано на такой дороге.

– Ну и вот. Если единственный наш козырь – дешевизна, – говорит Ткачев жене, – то к нам будут обращаться обедневшие.

– Кто?

– Обедневшие. (Неожиданное слово.) Те, кто хочет из дорогой квартиры переехать в дешевую.

– Да-да, – соглашается жена. – Да-да. – Она уже понимает, к чему он клонит.

– Те, у кого несчастье, – муж, скажем, у кого-то умер. Или под суд угодил.

Ткачевым становится немного не по себе, жизнь их тиха, сильных эмоций нет и не было. А тут, скребя изнутри совестливую душу, по их комнатам вдруг начинают ходить люди в черном (хотя никого пока нет) – люди рассматривают углы, потолки, стены, а Машенька вертит головой и оглядывается на них. Вдовы и вдовцы – они ходят, и ходят, и ходят, разговаривая сдержанно, скорбно и тихо, как и положено им разговаривать.

– Нехорошо-то как, – еле слышно произносит жена.

– Еще бы.

– Получается, что улучшаем жизнь за счет других.

А это ведь тоже кое-какое открытие. И к нему тоже нужно привыкнуть, как и ко всем предыдущим, но именно это привыкание Ткачевым что-то никак не дается. Или дается, но уж очень трудно, очень медленно.

Доходит даже до такого:

– Может быть, снимем наши объявления? – говорит жена.

– Сорвем со столбов?

– Да.

– Почему?

– Ну так... Нехорошо как-то.

Но это уже ясно, что она не всерьез говорит, потому что женщины так неопределенно не говорят, а если говорят, значит, просто-напросто хотят, чтоб их лишний раз убедили. Уговорили. Убаюкали. Ткачеву вспоминается летняя ночь на Каме, и лозняк, и лодка, и тихий, неуверенный женский голос: «Может, не надо?» – и еще раз: «Может, не надо?» – а уж какое там не надо, если об этой поездке говорили с ней целую неделю и сегодня загодя проверили, спит ли бабка, и с лодочником Ткачев торговался за лодку до бесконечности, потому что лодочник хотел в этот ночной час не трояк, а бутылку, и упрям был, и обозлен, и даже грозился «разглядеть, чья девка».

– Поздно, – говорит Ткачев.

– Что поздно?

– Поздно обрывать объявления. Кому надо, тот уже списал. И обменбюро наш адрес вывесило...

– И будут приходить?

– Конечно.

Минуту или две Ткачев и Ткачева молчат.

– Думаешь, все-таки будем меняться? (Может, не надо?)

– Будем.

И Ткачев неожиданно для себя вдруг делается внутренне спокоен. Он попереживал несколько дней – хватит, сколько же можно. Да, он строит свое благополучие. Да, получается, что на чужой беде строит, – ну и ладно. Это ведь только внешний вид такой. Но не суть.

Теперь ворочается ночью жена. И шепотом спрашивает:

– Ты спишь?

– Нет.

Но он спит. Это точно. А она не спит.

И днем ей тоже неймется, звонит, бедненькая (со своей работы на его работу), и спрашивает: ну как? Может, не будем меняться? Может, не надо?

А у Ткачева на душе спокойно.

– Дружок, – говорит он жене, – ты, как мне кажется, думаешь, что ты в театре.

– Я?

– По-моему, ты слегка со сцены говоришь. И по сцене ходишь, а?

Это он ей отвечает, когда она звонит ему второй или третий раз подряд, – сколько же можно звонить? И добавляет:

– Ты в своих мучениях немножко того – перестаралась.

Жена обижена:

– Я думала, ты меня успокоишь.

– Вот я и успокаиваю.

Ткачев кладет трубку, топает на свое рабочее место и совершенно холодно продолжает составлять программу для машины. Делает дело, за которое ему платят. Работает.

* * *

А это часа два спустя. Ткачев уже оторвался от дела и думает о том, что вот ведь жена терзается, а он нет. Смешная она. Женщины обычно практичные. У них, у Ткачевых, появилась некая горстка денег, а у кого-то эта горстка растаяла – все так, все верно и объяснимо, но терзаться-то слишком зачем? Лет, скажем, через пять какой-нибудь таксист, не вполне очухавшийся после вытрезвителя, и какой-нибудь жизнерадостный частник сплющат металлическими боками машин его, Ткачева, на переходе улицы, и привет!.. Жена тут же выкинет белый флаг. И ветер будет трепать на этих же самых столбах белое объявление, в котором будет сообщаться, что его, Ткачева, жена очень хочет переехать из трех комнат в две. Вот так-то.

– Так что давай жить, пока живем, – говорит Ткачев жене в телефонную трубку.

Но оказывается, он трубку уже повесил. И говорит он эти слова вполголоса самому себе. Как та бормочущая старушенция на людной улице, которая идет, выставив клюв вперед, и докладывает вслух человечеству все, что она о нем думает. Смешно...

Ткачев встает. Он подходит к практичному Корочкину – тот курит.

– Вот ведь какая штука. Меняться-то мне придется с кем-то из пострадавших.

– Не обязательно, – возражает Корочкин.

– Вот и я говорю, – Ткачев ухватился за слово, – не обязательно!

– Случаи разные бывают.

– А жена моя, поверишь ли, вздумала терзаться этим заранее – хотя вроде бы она у меня не слишком сентиментальна. Нормальная женщина. Баба как баба.

Ткачев пробует рассмеяться при этих своих словах. И получается.

– Мою тоже под такое дело облапошили. Жалостливая, – сообщает Корочкин.

– Ка-ак?! (И даже здесь наслезено и натоптано, подумать только!)

А Корочкин понимает вырвавшийся вскрик как вопрос. И охотно объясняет, как облапошили его жену:

– Была у нас плитка кафельная. И в ванной. И в сортире... Дорогая, зараза.

– Знаю. У нас такая же.

– Вот-вот. А моя дуреха совсем раскисла и забыла с них спросить за плитку. А это, извини, семьдесят рубликов.

Ткачев чувствует, что его зацепило и резануло, потому что, если все это впервые, тебя и должно резануть. Но ничего. Попалам не перерезало.

– ... Через полгода хватился: «Как так не взяла? За плитку не взяла?» Молчит. Только губы поджала... Пришлось мне к ним пойти. Хотя идти к людям за деньгами через полгода – это уже неудобно до чертиков.

– И пошел?

– А как же.

– И отдали?

– А как же... Не с первого слова. Конечно, отдали – поговорить пришлось.

* * *

А это первый телефонный звонок. Меж восемью и девятью, как и предлагалось в объявлении.

Жена к телефону в эту минуту ближе, а сам Ткачев на кухне – значения это, конечно, не имеет, но все же проясняет тот неприметный факт, что жена к телефону не подходит. И не подойдет. А дочери дома нет. И вот телефон заливадается как оглашенный, а вдова или вдовец на том конце провода думают, что, может, эти типы, давшие объявление об обмене, как раз сейчас выходят из ванной, набрасывают на себя какую-нибудь тряпку и спешат к телефону, путаясь ногами в шлепанцах.

– Ткачев, – зовет жена.

И он идет, он не торопится. Телефон не умолкает, у меняющейся вдовы или там у вдовца отменные нервы. У Ткачева тоже.

– Это по обмену.

Мужской голос спрашивает о квартире – Ткачев отвечает. Затем спрашивает о предлагаемой квартире Ткачев, а тот отвечает. И все. И ничего больше.

– Пока.

– Пока.

Жена поднимает к Ткачеву лицо:

– Какой... какой был голос? (Робко и тихо.)

– Мужской.

– Нет. Не то... Какой он был?

– Отвратный.

– Как ты можешь! – чуть не вскрикивает жена (она все еще думает, что звонила непременно вдова или неутешный муж).

Ткачев улыбается. Он вдруг чувствует, что растет и прогрессирует в этом обменном ремесле. Потому что особенно чутко отмечаешь свой рост, когда кто-то (в данном случае его жена) топчется на месте и не растет. Женщина, думает он. Вся в эмоциях, где уж ей расти. Пусть топчется.

Ткачев на минуту задумывается и делает самому себе маленький выговор:

– Для первого раза я вел беседу неплохо. Но...

– Что? – словно просыпается жена.

– Понимаешь – я кое-что упустил. Надо было пригласить этого гундосого типа. Пусть бы осмотрел наши хоромы.

* * *

А это – первый, кто пришел смотреть. Старичок. Довольно мил. Но очень хочет денег. Во-первых, он хочет получить разницу в паях – это нормально и естественно. А во-вторых, он хочет доплату просто так. Доплату без причины. Такой вот он пришел и такой сидит.

Ткачев, конечно же, на время принимает эту игру, потому что, если игра для тебя новая, ты ее на время принимаешь, так уж они, новые игры, придуманы. И мы так придуманы.

– ...А все же – почему я должен вам доплачивать?.. Я ведь не спорю. Я только интересуюсь, – говорит Ткачев.

– Почему доплачивать?

– Ну да, почему?

Старичок крутит громадную, довоенного образца козью ножку. Неспешно раскуривает ее. И поясняет:

– А как же, милый. Так уж водится.

– Не вы придумали?

– Не я, – смеется старичок добродушно.

Ткачев интересуется:

– Верю, что так водится, но в чем смысл?

– Ну как же. Ты ведь в три комнаты хочешь, значит, вверх идешь. К пирогу. Так или не так?

– Ну допустим.

– А раз к пирогу идешь – тебя малость и постричь можно, хе-хе-хе...

И старичок (он и впрямь мил и добродушен) выпускает громадный клуб ржавого дыма, отчего старичка становится еле видно. А жена Ткачева подает ему чай с айвовым вареньем. Вкусный чай. Жене очень нравится, что старичок не сраженный горем, не несчастненький, а даже как бы веселый.

– Спасибо, милая.

– Ой, что вы!

– За чаек спасибо. Хороший чай. Как для родственника завариваешь.

Ткачев продолжает расспросы:

– Значит, если я правильно понял, ты хочешь, папаша, денег задаром. Тяжело жить?

– Деньги нужны.

– Зачем?

– И-и, милый.

В разговоре старичок поддерживает любую тему, кроме этой.

А днем позже приходит она – она в темном. Хотя скорее всего это темно-синий костюм Аэрофлота.

Когда-то он был темно-синим, это точно, но сейчас он глядится как темный. Во-первых, потому, что тут уже хорошенько потрудилось время. И еще потому, что Ткачевы подспудно как-никак ожидали, что к ним придут и будут ходить по комнатам в темном, – вот и пришли.

На голове голубенькая пилотка с «орлом», и, когда она ее снимает (а она сняла ее сразу), оказывается, что пришла привлекательная блондинка в темном, чуть склонная к полноте. У Ткачева внутри что-то екает. Срабатывает. И он видит, что она поняла и отметила это. К тому же у нее оказывается имя, с которым так просто не исчезают с твоего горизонта, если ты мужчина и если горизонт твой сугубо научно-технический. А у Ткачева именно такой горизонт.

– Ангелина, – говорит она, протягивая руку.

Это тоже фиксируется. Ее рука.

– Вы вчера нам звонили? – уточняет Ткачев.

– Да.

– В самом начале девятого?

– Да. Как раз в восемь.

– Стюардесса?

– Угадали, – и она улыбается.

А что ж тут было угадывать.

Но угадал, в сущности, не Ткачев. А его жена. Ткачев же слегка ошалел – он водит женщину из комнаты в комнату, и рот у него ни на секунду не закрывается:

– ...Это коридор, а это наш балкон, чтобы вам дышать воздухом и чтобы вспоминать родной Ту-104, а это наша комната, а это стенка с отличной слышимостью – чтобы стучать соседям по вторым и семнадцатым числам, когда они выясняют отношения, а это... – и так далее.

Ткачев вдруг перехватывает взгляд жены. Взгляд расшифровывается: прекращай треп, присмотришь к женщине, как же тебе не стыдно...

Если тебя одернули, не нужно много ума и много времени, чтобы сообразить, почему стюардесса ходит с темной косынкой на шее. Нужно только закрыть фонтан. И Ткачев его закрывает. Молчит.

Потом тихо спрашивает. Перестроившись:

– Муж был летчиком?

– Да.

– Разбился.

– Год назад.

Ее глаза часто моргают, стараясь сдержать слезу, и сдерживают.

Жена Ткачева уходит в другую комнату и там отчужденно, громко и шумно (нервничает) начинает шить. Дык-дык-дык-дык – стучит и дергается швейная машинка. И это как бы звуковой фон. Ткачев и женщина сидят и молчат, а машинка там делает то, что и должна делать. Возникает застывшая минута. Из тех, что запоминаются.

Затем минута теряет свой вес, сходит на нет, и тогда Ткачев спрашивает:

– Ну что, Геля... Будем меняться?

Именно так. Ткачев, весь такой чуткий, понимающий ее горе и одновременно знающий, что жизнь есть жизнь (увы!), говорит ей обязательные и простые эти слова. Без слов нельзя. Ткачев при этом улыбается – дескать, рад, что вы (ты?) оказались такой милой. И здесь же вскользь оттенок, что, как бы ни обернулось их знакомство, он, Ткачев, добр, чуток, гуманен и все такое. И вот все эти оттенки должны пройти в одном безнажимном вопросе. И они проходят:

– Ну что, Геля... Будем меняться?

* * *

Почему Ткачев нравится Геле, он не знает. И никто не знает. И все же он чувствует и слышит, и это вроде таинства, хотя таинства тут нет. Ты нравишься женщине, вот и все, и причины нет, и таинства тоже, пожалуй, нет, и если ты придумываешь причины и таинство, то это так, от лукавого. Или от неожиданности подарка.

Догадывается ли Геля или не догадывается, что нравится она Ткачеву, – вопроса тоже, конечно, не существует. Догадывается.

И уже несколько дней Ткачев думает и как бы не думает об этом – мысль существует сама по себе. Отдельно от Ткачева. Рядом с Ткачевым.

Он сидит на кухне. Он только что с работы.

– Маша уже спит – так рано?

– В театр, – объясняет жена, – всем классом ходили. Дневные спектакли – это так тяжело.

– Устала?

– Да. И еще зачем-то в кино после этого потащились...

– Не нужно было.

– Пришла из кино – и в постель. Заснула как убитая. Она этот спектакль два месяца ждала...

Жена говорит, говорит, говорит, а Ткачев не перебивает ее. Но и не слушает, конечно.

– Плохо ешь, что с тобой? – замечает жена.

Но нет, он жует, хотя и машинально жует.

Говорит:

– Устал я... А мне еще к Ангелине сегодня.

– Будь с ней повежливей.

– Ладно.

– И без этих твоих шуточек. И полы, пожалуйста, осмотри – не забудешь?

Ткачев приходит как раз к десяти – десять вечера, то самое время. И мягкими глазами, какие бывают в десять, он видит ее жилье, ее кухню, ее покрывало на кушетке – все те мелочи, которые дополняют (и наполняют) женский лик. Потому что не увидать женщину в ее доме – значит, не увидать ее вообще. Ткачеву повезло. Он увидел.

– Теперь сюда... А теперь сюда. – Геля водит его по трем своим комнатам, улыбается, смеется.

– А сюда можно?

– Проходите.

Он понимает, что детей сегодня дома нет, но спросить, где они и почему, не смеет. Да и не нужно спрашивать, нужды нет. Если уж вас обоих и вашу лодочку сносит к тому берегу, женщина сама постарается пояснить, одни ли вы сейчас в доме, пора ли тебе уходить или не пора и тому подобное. И Геля, поговорив о метраже и квартплате, поясняет:

– Вам пора уходить. Уже поздно.

– Да-да.

– Вы уж извините. Дети у меня в спортлагере. Они отдыхают.

Ткачев спрашивает – где? Она отвечает и тут же добавляет, что место очень хорошее.

Он спрашивает: в каком смысле очень хорошее?

– Реки нет, – отвечает она. – Все-таки это спокойней. После случая с мужем суеверной стала.

Пауза.

– Мальчики? – спрашивает Ткачев. И угадывает.

– Да. Кончили девятый. И сразу же в спортлагерь – ничего другого и слышать не хотят!

– То есть как – оба девятый?

– Они близнецы.

– Как интересно!

К счастью, это и действительно его как бы обогащает чем-то и удивляет. Хотя есть вещи и более удивительные, чем близнецы у твоей знакомой. Но ведь любопытно. И отчасти возникает выползшая из каменного века и мохнатых шкур, первобытная и дотянувшаяся до нас радость. Не будь этого, Ткачев не посмел бы быть веселым, а тут он смеется и говорит, чувствуя, что он все-таки не сфальшивил и фальшивить не станет.

– Как интересно!.. Близнецы? Мальчики?

– Да.

И женщина в долю секунды постигает, что он искренен, и тут же оба они (разрядка) смеются.

– Ну что, что здесь смешного? – говорит Геля и смеется.

– А ничего, – говорит он и смеется.

Вот тут и случается, что он притягивает Гелю к себе, – она, конечно, отворачивается, убирает и губы, и лицо, но это уже ничего не значит. Они стоят, прижавшись друг к другу, и обоим все ясно. Хотя лицо к нему Геля так и не поворачивает.

– Отпусти, – шепчет она.

– Да, – шепчет он. И конечно же, не отпускает. Но и не удерживает силой. И с полминуты они так стоят, и сейчас он уйдет.

* * *

Через двадцать пять минут (вся дорога) он уже дома.

– Прекрасные три комнаты. Раздельные. И лоджия во двор, – с ходу рассказывает Ткачев. И перебирается из ботинок в шлепанцы. Не теряет времени.

– Радостный ты очень, – говорит жена.

И сначала Ткачев не понимает, куда ветер, – грешен слегка, потому и не понимает.

– Почему же не радоваться, если квартира этого заслуживает. Великолепный пол. Прекрасные три комнаты...

– Перестань.

– Почему?

– Ты похож на... на купчика!

Теперь Ткачев понимает.

Он замолкает. Молчит. Потому что знает свою жену – она, конечно, бывает разной, но сейчас она чистенькая девочка в белом платице, чтобы все люди видели, как она умеет слушаться маму и тетю Пашу. И с мальчишками она не водится, ведь они могут замарать ее новые туфельки.

Жена тихо произносит:

– Я думала, тебе тяжело будет. Осматривать жилье... обсуждать – и все такое.

– Жилье горем не пахнет.

– Разве?

Потом она спрашивает:

– Ну а Геля?.. Как она?

– Нормально.

– Она не очень переживала?

– Я же не рылся в их вещах. Походил по комнатам, вот и все.

– Совсем не переживала?

– Нет... Немножко даже кокетничала со мной.

Ткачев говорит это и думает, что вот ведь получается – и там и тут. И ничего. И голос тянет и вытягивает слова, как и надо тянуть и вытягивать. И не выдает. И конечно, не первый раз он поспевает и там и тут, но все же что-то точит и легонько подгрызает ему краешек, как мелкозубая мышь.

И еще. Если он думает и помнит об этом, то, наверное, в сущности, он человек неплохой. Это он тоже не забывает отметить.

Они лежат в постели. Засыпают.

И вот жена опять про то же:

– А портрет... видел?

– Что?

Она объясняет – портрет мужа Ангелины, ну легчика этого, который разбился, должен же он где-то висеть на стене. Ткачев говорит, что как-никак больше года прошло.

– И портрета нет?

– Не видел.

– Плохо смотрел.

Ткачев раздражается:

– Может быть, его и при жизни не было. У нас же не висит мой портрет.

И добавляет:

– Может, портрет и был, а она его в фотоателье отнесла. Чтоб сделали покрупнее. Заодно покрасивее.

За несколько таких вот беспечных и грубоватых фраз Ткачев получает теперь долгую ночь с тихими слезами. Он спохватывается, но поздно. Жесткое словцо уже где-то задело, царапнуло – теперь жена будет плакать... Страшного тут, конечно, нет. И ведь не первый раз. И не последний. И нужно лишь быть с ней рядом, говорить ей добрые слова, ну и целовать и дышать в ухо так, как это водится только у них двоих.

Это он и делает.

А жена неслышно плачет, и объясняет ему, и пытается улучшить его глубинную, так сказать, сущность. Пытается улучшить его нутро на будущее. Подправить, что ли.

– Ты хороший, хороший... Но ты бываешь иногда нетактичен. Нечуток.

– Да, – говорит Ткачев. – Да. – Потому что тут нужно поддакивать.

– Нечуткость ранит, обижает людей. Пойми, – шепчет она.

– Да.

– И с Гелей тоже пойми. Она милая, она нам улыбается, но ведь это все через силу.

– Да.

– Ты ведь говоришь ей об обмене, о метраже, о паевых взносах – верно?

– Верно.

– Ты даже не замечаешь, что во всем этом есть жестокость...

Этого Ткачев, может быть, и не замечает, но он прекрасно замечает другое – то, что собственная и любимая его жена раскисает, как раскисает слабенький снег в оттепель, от мало-мальской жизненной перемены. Даже не от перемены – от намека на нее. И вот ведь дожила с этакой ранимостью до сорока почти лет, и, уж конечно, в дальнейшем такой и останется. Такой и жить будет... И Ткачеву вдруг приходит на ум, что, может быть, она-то и замаливает, как говорили в старину, за него, за его дубленую и носорожью кожу. И что, может, потому-то у него и дубленая, и носорожья и потому-то он дал своей коже стать такой, что знал – живут и другие, и они непременно напомнят, и слезу пустят, и смягчат, и примут на себя. И что, может быть, это оно и есть, равновесие. И что мы, человеки, так и задуманы были. С самого начала.

– Воды, а? – И Ткачев на миг включает свет, чтобы поставить и не свалить принесенную жене чашку.

И замечает нечто. Листочки бумаги – и на каждом по три крупных прямоугольника. План. Будущая трехкомнатная. Он шепчет жене:

– Хозяйка, а хозяйка, там, на листочках, это ты мебель расставляла?

– Ага, – она неуверенно улыбается.

– Ну и как? Получилось?... Углов пустых нет?

Вот именно. Она играла в эту игру – расставляла мебель в прямоугольниках на бумаге. Расставляла терпеливо и всерьез. При всей ранимости нам надо не забыть расставить кушетки и холодильник – и, может быть, это тоже входит в общий замысел человека.

Он гасит свет.

– Спать надо. Спать, – говорит он шепотом.

* * *

Иногда он представляет ее на трапе, только что вышедшую из самолета. И пробует (тихо-нечко) на звук ее необычное имя:

– Геля...

Или вспоминает. Те минуты, когда он осматривал кухню (большая! – здесь можно даже телевизор воткнуть!) – он осматривал, глаза делали свое дело, а язык делал свое. Ткачев говорил:

«Какие, Геля, у вас большие дети... У меня дочка. Но она только в седьмом».

«Я рано замуж вышла – рано родились».

«Все равно удивительно как-то – вы ведь моложе меня».

«Может быть, и не моложе».

«Ну-ну!»

Они слегка поспорили. После чего выяснилось – да, она моложе, на два года.

А потом он спросил: тяжело ли с пацанами? Так ли тяжело, как принято говорить?

«Они у меня учебу любят», – сказала Геля каким-то вдруг вынырнувшим на поверхность простоватым говорком.

«Что?» – он недопонял.

«Учебу любят. В библиотеку оба записаны. Может, и в институт поступать решатся».

Ткачев вспоминает ее лицо – теперь, когда он видел ее дважды, лицо, пожалуй, чуточку с простотой или даже простовато. Но до чего хорошо! Он чувствует, как от пяток и до комка в горле его наполняет что-то, чему нет и не может быть названия, даже если это название придумают.

На работе в узаконенную для трепа обеденную отдушину Ткачев направляет шаги к Корочкину и видит, что в эту самую минуту Корочкин направляет шаги к нему.

– Ну? – спрашивает Корочкин.

И где-то по позвоночнику проползает у Ткачева испуг: вдруг этот прохиндей и про незнаемое знает – это смешно, конечно, и глупо, и все такое, а вдруг?

– Меняюсь... Вовсю меняюсь, – небрежно бросает Ткачев.

– И есть неплохие варианты?

– Есть.

– Ну-ка.

Корочкин живо интересуется, а Ткачев живо рассказывает ему о старичке, который хотел дармовой доплаты, – он обрисовывает старичка и как бы отвлекает и в сторону уводит Корочкина, с его длинным и чутким носом.

– Старичок?.. Это который с махрой?

– Да. Козью ножку вертит.

– И с красным кисетом?

– Да.

– Знаю! – чуть не кричит Корочкин. – Прекрасно его помню!

Оказывается, старичок и с Корочкиным пробовал меняться – большой и постоянный любитель этого дела. Из тех, кто меняется со всеми и не обменивается ни с кем. У старичка это от скуки. Это хобби. Причуда. Наполовину со старческим сползанием в голубое детство.

– А другой старикан – был он у тебя?

– Какой? – спрашивает Ткачев.

– С костыликом?.. Неужели не был?.. Значит, конец фильма. Помер.

– Помер?

– Наверняка. Иначе бы он тоже пришел. В нашем районе он приходил одним из первых – неугомонный был старикан. Разумеется, помер. Он, наверное, и там меняется.

Корочкин, конечно же, Гели знать не может. Он уже два года как окончательно обменялся, а она только год как овдовела, и все же Ткачев опять чувствует зябкий холодок вдоль спины. Кто его знает. Мир тесен, везде следы, везде накопытили.

И потому о Геле (не рассказать же нельзя) Ткачев рассказывает очень коротко и очень сухо.

– А что за женщина, что ей надо – разницу в паях?

– Да, – отвечает Ткачев, – переедет к нам и получит разницу деньгами.

– Свою квартиру оплачивать уже не может?

– Вероятно.

– Значит, из обедневших.

Но Ткачев не попадает на крючок, не начинает взхлеб рассказывать.

– А что за женщина – симпатичная? – И чуткие ноздри Корочкина ходят, как листок на ветру, туда-сюда. Живут и дышат этой секундой.

– Что?

– Симпатичная, а?

Ну уж нет, сюда его Ткачев не пускает. Он для того и переспрашивает, чтоб не пустить.

– Женщина. Обыкновенная.

– Сколько лет?

– А бог ее знает. Еще не старуха.

Стало ли Корочкину понятно, что его не пускают сюда и не приглашают за стол или же он сам лезть в душу раздумал – неясно. Но ясно, что он отступает. И только спрашивает наугад:

– Ну а жена?.. Отболело у нее?

– Еще нет.

– А на листочках в клетку играет?

– Не понял?

– Мебель двигает?

– Вовсю!

Оба смеются. Поговорили.

А потом Ткачев спускается вниз, к телефону-автомату, который у выхода, и звонит. Ей, Геле.

– Здравствуй, – говорит он.

Он пускает дело сразу на «ты» и, конечно, не знает, как ему это сойдет. Сердце начинает качать густой и тягучий мед.

– Здравствуй, – говорит она.

– Узнала мой голос?

– Да.

И тут уже нельзя ни затягивать, ни обманывать себя и ее. И он не затягивает.

– Я хотел бы как-нибудь прийти к тебе. Не комнаты осматривать. И не метраж проверять.

А просто к тебе.

– Приходи.

Тут Ткачев малость сбивается. Нервничает, что ли. Он вдруг готов довольствоваться малым.

– Нет-нет, Геля... Я понимаю, что не в эти дни. Я ненавязчив... Но как только тебе захочется меня видеть...

– Лучше как раз в эти дни, – говорит она.

– Да?

– Пока мальчики в спортлагере.

– Я приду сегодня, – говорит Ткачев, потому что отступить некуда.

А затем он говорит, что придет к ней сразу же после работы. Что ненадолго, на час-два. Что принесет, пожалуй, винца. Все, что говорится в таких случаях.

* * *

И вот он приходит. И уже сидит за небольшим столиком, а вокруг него хлопочет женщина с той медлительностью и с тем спокойствием, с какими может хлопотать склонная к полноте женщина в тридцать семь. Она делает бутерброды. А рюмки уже ополоснуты и стоят, ждут, раскрыв свои крохотные рты.

– ...Замуж я уже не выйду, – рассуждает Геля, – я ведь и не надеюсь. Поздно. Куда уж мне.
– Ну почему же, – возражает Ткачев, и, кроме как возразить, ничего лучше тут не придумаешь.

– Нет. Все-таки возраст. Двое детей...

– Ну и что?

– Нет-нет. Я не удочку закидываю. Я ведь честно говорю – замуж выйти я не надеюсь. Но... но иметь друга я бы хотела.

И Ткачев понимает, что ему повезло. Потому что тон Геля задает ровный и продуманный – лучший, стало быть, тон. И может быть, действительно дружба – и совсем не обязательно делать это слово упрощеннее и хуже, чем оно есть. И никаких, разумеется, драм, как хорошо. То самое, чего хотелось.

– Нет-нет. Мне ведь не надо, чтоб часто приходил. Но если иногда...

– Ну ясно, – подхватывает на трудном месте Ткачев, – человек не может в одиночку. Нужно иногда поговорить. Раскрыться перед кем-то...

– Да, – теперь подхватывает Геля, – поговорить. Поговорить по душам. Это правильно.

Ткачев думает, что, когда они поменяются, ему странновато будет приходиться к ней не сюда, а в ту, в бывшую свою квартиру. Странновато. Или ничего?.. Он прислушивается к себе, к тому, что называют и так и этак, а чаще называют совестью. Но там тихо-тихо. Ничто не точит. Это удивительно, но там тихо.

Машинально он отмечает, что взамен той он получит эту квартиру, и проезжает глазами (тоже машинально) по стене, и по углу, и по торцовой стене тоже.

И вот тут он видит. А руки его как раз уже разливают вино.

Видит он всего-навсего портрет; оказывается, в доме он есть, существует и никуда не убирался. Ткачев попросту его не приметил, потому что портрет мал. С ладонь. С его, с мужскую, ладонь. Все в соответствии, и рамочка, чуть темноватая. И сам портрет как бы в дымке. И лицо. Лицо из тех, что пробуждают в людях грусть, и светлые чувства, и желание сказать: «А видно, славный был парень».

Ткачев и Геля чокаются (еле касаясь стеклом о стекло) и выпивают – до этого, конечно, было что-то произнесено. Приятное ей, приятное им обоим.

– Хочешь, музыку заведу? – спрашивает Геля.

– А?

– Музыку... Я негромко.

И тут же Геля опять мажет масло на хлеб – заботится впрок. Спокойно водит неострым ножом, показывая то одну, то другую его сторону.

А Ткачев смотрит на нее. На ее фигуру. На ее мягкие движения.

И он уже понимает, почему внутри тихо-тихо и ничто не точит и не грызет. Вся мысль сейчас в том, что и переживания Ткачева, и его жены, и переживания Гели – все это относится к людям живым и к жизни, как бы это ни было запутано или как бы ни было упрощено, – все это к той половине, где жизнь. К половине, где свет. К половине, где сосны и поляны. Мы – это мы, вот именно, и уж как-нибудь мы меж собой разберемся. И поладим. А он-то, который четвертый, там.

Вот тебе, родной, и обмен, с горечью рассуждает Ткачев, не сводя глаз с портрета в дымке. Вот ведь как обменялись. И почему же так вышло, что мне все, а тебе ничего?

Но горечь Ткачева, в сущности, легкая горечь. И последнее, что он думает на этот счет (потому что дальше у него уже не будет времени думать), – он думает про облака и косые лучи солнца. Думает про нечто. И возникает немножко детская и немножко сентиментальная мысль: где ты сейчас?.. где? где, я спрашиваю?

ЧЕЛОВЕК СВИТЫ

1

– ... Но что-то стряслось!

– Не знаю.

– Ты, Митя, подумай.

– А ты сама, Вика, подумай! – уже и заметно колко говорит мужчина. Но колкие фразы их единству не мешают, и, едва начинает накрапывать дождь, Родионцев раскрывает зонт: оба идут под зонтом, притиснувшиеся друг к другу.

– Настроение тут ни при чем. Аглая Андреевна прекрасно владеет собой. А вывод: недовольство ее чем-то вызвал я.

– Но чем?

– Не знаю.

– Ну так припомни...

Громада серых учрежденческих зданий осталась у них за спиной. Дождь усиливается, но уже близко метро.

– Чего гадать – скоро выяснится.

– Неплохо бы, Митя, именно угадать – угадать и исправить. *Нам* надо быть начеку.

Родионцев ее дружеский знак отметил и оценил, однако интуитивно он чувствует, что недовольство Аглаи Андреевны распространяется все-таки больше на него, чем на Вику (если это не мнительность). Расставаясь, Аглая Андреевна была холодна, промолчала о будущей встрече, и с того дня не последовало ни единого телефонного звонка.

Наверное, есть лучшие способы сообщать, что с тобой отныне не водятся и что тебя разлюбили (что тобой недовольны), но им – Вике Журавлевой и Родионцеву – придется, вероятно, мириться с тем, что есть: с недосказанностью. В метро припоминаются мельчайшие подробности реплик Аглаи Андреевны, но, даже и дословно воспроизведя тот разговор, они никак не могут достичь следующего малоуловимого круга ее чувствований – круга, который Аглая Андреевна воплощает молчанием и неподвижностью своего красивого лица.

То ли расположение окон таково, что света через них вбирается много, то ли Аглая Андреевна звала их пить чай в самые солнечные дни, но это и впрямь непонятно и почти мистика: здесь у нее не бывает непогоды. Приемная директора в такой час особенно просторна и заливаема солнцем – закатным, нестранным, мягким, но обильным. Шторы раздвинуты до предела, в креслах уютно, а над дымчатым фарфоровым чайником, только что внесенным и зазывно стоящим на подносе, клубится легкий парок.

Комнатных цветов в приемной нет, лишь один-единственный: старая, пожившая роза. Когда в приемной наводили достойный начальства лоск и все хоть чуточку мещанское изгоняли, розу оставили за то, что цвела непрерывно: на ветке близко к корням вспыхивал бутон, и на другой, на третьей, на пятой, затем огонь перекидывался на ветки среднего яруса, а на смену им зацветала уже и вся вершина. У могучего и, вероятно, предельно истощенного растения без цветка не было буквально ни дня. Красивая старостью (аристократ, уцелевший и выживший), роза без всякого труда сделалась достойна солнечной приемной и ее хозяйки – Аглаи Андреевны, а в их общем чаепитии именно роза была четвертым и тоже обязательным персонажем.

Он, Родионцев, всегда сидел в кресле, что ближе к окну, а Вика – в том, что в глубине. А за столом сидела Аглая Андреевна, секретарь директора, с царственно-неприступной и одновременно доброй улыбкой. (Красивые глаза. Ухоженное крупное тело. Два дорогих кольца,

изредка сигарета. А на столе – чашка с дымящимся чаем.) С утра кипели деловые страсти, и, если позволительно сравнивать людей их «Техпроекта» с муравьями, здесь была вершина огромного муравейника. И лишь к концу – часам к пяти-шести – муравьиная жизнь стихала, директор уходил, и Аглая Андреевна позволяла себе немного расслабиться.

Аглая Андреевна пила чай, дела отброшены – час чая. И если кто-то заглядывал, даже из персон, Аглая Андреевна не смущалась – она лишь улыбалась вошедшему, как бы говоря: видите, отдых. Или же поясняла словами: дела закончены, директор ушел.

В час чая Аглая Андреевна звала к себе Родионцева и Вику, и вовсе не только о делах говорили они, а, скажем, о слухах; они говорили о семейных неурядицах, о том и о сем – Родионцев, к примеру, рассказывал о дочери-студентке: девчонка капризничала и, переборчивая, никак не хотела продолжать учение в вузе, в который к тому же едва-едва поступила.

«Чего же она хочет?» – ласково и покойно спрашивала Аглая Андреевна.

«В том-то и дело, что сама не знает».

«А головные боли у нее прошли?» – Аглая Андреевна знала и помнила все или почти все о дочери Родионцева, а также о его жене, а также о муже и маленьком сынишке Вики Журавлевой. (И не только о связанных родством, она помнила и о друзьях, о знакомых.)

«Головные боли у нее начались со школьных экзаменов».

Тему подхватывала Вика:

«К новшествам школы ни дети не успевают привыкнуть, ни родители – моему сыну идти в первый класс, а я уже загодя боюсь!»

«Помаешься, Вика!» – Родионцев подливал чай.

Аглая Андреевна со вздохом замечала, что в ее годы учиться было легче:

«Сказать по совести, я училась трудно, я ленивая была. Правда – красивая».

«Вы и сейчас красивая».

«Ну уж!..» – улыбалась Аглая Андреевна, поднося к губам чашку с чаем, и минутка грусти, проскользнувшая вдруг, повисала в этой залитой солнцем приемной. Минутка висела чуть дольше, чем нужно: миг, сопричастный красоте увядания, – и сама же Аглая Андреевна, неспешное время подтолкнув, говорила: что это мы пригорюнились, поговорим-ка о веселом...

* * *

Отряхивая зонт и в раскрытом виде оставляя его сохнуть у порога, Родионцев вдруг чувствует усталость (а ведь он из тех, кто спортивен и носит спортивные костюмы: моложавый мужчина, поджарый и быстрый для своих сорока лет), – вялый, он прошел на кухню, где и садится за стол, вроде бы сразу собираясь поесть, хотя есть он не хочет. Все его сорок лет сейчас с ним.

– Митя, я хотела бы знать поточнее: когда ты едешь на Староволжский завод? – спрашивает жена.

Он молчит, а жена – в глубине комнаты, полагая, что он не слышит, – повышает голос:

– Мне, Митя, все равно, уедешь ты на неделю или даже на десять дней, но мне важно знать: в конце месяца или в начале. Ты меня слышишь, Митя?

– Я, может быть, не поеду.

– Как это – не поедешь?

– Может же Аглая Андреевна отрядить не меня, а кого-то другого...

Тут уж жена бросает свои дела в комнате и, не перекликаясь с ним издали, как в лесу, подходит; подойдя, трогает его, жующего корочку хлеба, за плечо:

– Митя, что-то неладно?

Жена часто болела, а дочь плохо училась, что для семьи в среднем приводило к жизни нелегкой. И, в сущности, к удару или к ударам жена была готова: из расхаживающей по ком-

нате женщины, говорливой и даже улыбающейся, она без перехода сразу превратилась в женщину сдержанную и ко всему внимательную. Она у него молодец. Он, Родионцев, нет-нет и хорохорился, а вот жена являла собой их семью общее и зримее: жизнь, а правильное – молодость, давно, мол, прошла, жизнь смирила, теперь нам достаточно иметь совсем немного, а все остальное в мире пусть проходит мимо, мы обойдемся.

Сначала Родионцев отвечает невпопад, как полуглухой, но жена понемногу и ласково выуживает и выспрашивает: значит, что-то случилось? а вспомни? а почему ты считаешь, что Аглая Андреевна стала относиться к вам с Викой по-иному?

Она даже так говорит, успокаивая:

– Бывает, Митя, что многое, чем терзаешься, ты сам в себе растравил, а на деле этого нет.

На что он отвечает:

– Когда это я был мнительным?

Семья, как правило, считает смутной всякую ситуацию, которая ясностью своей хоть сколько-нибудь уступает ясности самой семьи, – и вот, подперев рукой голову, жена присела около, то ли смотрит в окно, то ли прислушивается к шуму проходящего там транспорта: улица под их окнами шумна. Молчат. Родионцев все же шевельнулся: вспомнил, что, как пришел, не видел дочери.

– Где она?

– Гуляет.

– У нее сессия, а она гуляет! – Это он просто так ворчит – вперед и в ожидании всяких прочих неприятностей и бед, которые, как и известно, в одиночку не ходят.

Но теперь молчит жена, отбывшая днем на службе, а к приходу Родионцева уже постоявшая у плиты – она быстро выдохлась, и у нее нет сил, чтобы спорить или даже просто затевать долгий разговор с какими-то выводами, пусть нужными.

* * *

Сынишка – пяти лет от роду – сидит и ковыряется в детском ручном пулемете, чинит, а у мужа (он перед телевизором) сейчас, разумеется, лучшие минуты жизни: смотрит футбол. Вика сбрасывает плащ и останавливается у него за спиной:

– На работе намечаются новости... – Муж реагирует коротко: «Ну и ладно!» – что понятно сразу и что в переводе на семейный означает: не мешай смотреть. Футболисты на экране прыгают, бьют и с правой и с левой. Пребывая в продолжающемся раздумье, Вика и не ему, собственно, говорила – себе. Чутье работает с полной отдачей (для своих тридцати пяти Вика вышла замуж недавно, а до замужества ее хорошо покатало, помяло).

Чутье ее не обманывает: Аглая почему-то ставит на Родионцеве крест, а может быть, на Родионцеве и на Вике вместе. Но почему, если они оба свое «солнечное местечко» старательно отработывали: они делали Аглае множество услуг и ведь не жалели времени съездить, сбегать, узнать – всегда на подхвате...

Раздражение переносится на мужа, который воткнулся в телевизор и смотрит футбол. Муж у Вики веселый и добродушный. И сынишка у Вики тоже веселый и добродушный. И когда-то Вике казалось, что такая семья – предел счастья, тем более что замуж Вика вышла с запозданием и почти без любви, и, как говорится, *наконец-то*. Однако прошло несколько лет, и выяснилось, что, помимо замужества, и семьи, и сынишки, есть еще жизнь, которую надо *жить*. Если даже и попал на солнечное местечко, нужно перемещаться, шевелиться и прилагать усилия, чтобы не оказаться в тени, когда солнце сместится. (Солнце, хотя и помалу, смещается, и в тени оказаться – просто и быстро.) Да, Вика суетная и, может быть, мелкая женщина, ну и ладно, какая есть. Во всяком случае, возле Аглаи Андреевны она чувствует себя активной, даже и нужной. Тонус жизни – это совсем немало, и, лиши Вика этого, она

захандрит, заболает, нет, она именно заболает, и, кстати, многие люди в городе заболает, лиши их активности, пусть мелкой и суетной.

– Ну ты, прозябатель, – обращается Вика к мужу, который накормил сына кашей, после чего достал из холодильника пару пива и прикипел к экрану, считая, что перед семьей и человечеством на сегодняшний день чист.

– Дай посмотреть... Не мешай.

– Ну конечно, как можно пропустить футбол! А ты позаботился о том, как твоя семья – твоя жена и твой сын – проведут лето? Нет, ты скажи: должен или не должен муж думать о лете? (Аглая Андреевна помогла Вике достать путевки в чистенький пансионатик, притом на два срока, решив тем самым проблему лета и отпусков, мужик же Вики обрадовался, приняв как должное. Он, кажется, посчитал, что пансионатик будет отныне каждый год. Лодырь. Лишь бы с плеч...)

– Футбол надо смотреть с удовольствием, а если смотреть под твой скрип, то лучше сразу выключить!

– Ну и выключи! – Вика сердита.

В раздражении она тянет руку к телевизору:

– Ну что, выключить?

– Отстань же! – грубо, как в очереди, вскрикивает муж. И Вика осмотрительно идет на попятную. (Он, если зол, свирепеет.) Вика уходит на кухню, но добра в сердце своем она на мужа не держит: ничтожество...

Она стряпает, но, чтобы успокоиться, бросает стряпню и идет в ванную, где плещется под душем и где ей действительно становится легче. Как только нервы расслабились, она понимает, что в конце концов муж – это муж, приносит зарплату домой и смотрит по вечерам телевизор, веселый, любит сына – мало ли?.. Освеженная душем и вытирающаяся, она кричит ему из ванной:

– Какой счет?

– Ноль-ноль, – охотно откликается муж.

Вика фыркает, вот их суть: мужики смотрят свое *ноль-ноль*, и у нее еще до замужества накопился огромный опыт по отношению к столь замечательному мужскому качеству. Вновь сдержавшись, Вика идет к столу, затем зовет мужа ужинать и сынишку кличет тоже, раскладывая уже по тарелкам. Муж усаживается.

– Что ты там бормотала про лето? – спрашивает он, набивая полный рот. – Мы же решили (он жует), что едем все трое (жует) в ваш пансионат в Подмоскowie (жует)...

– В это лето едем. Но дальше – не знаю.

– А что может перемениться к будущему лету?

– Все бывает.

– До будущего лета дожить надо! – Привычно от забот отмахнувшийся, он с новой силой налегает на еду. А Вика нервничает. Если перемены и если она лишится солнечного местечка, она делается такой же, как и муж.

Неучаствующей. Бездеятельной и безликой. Ей в пору пристраститься к футболу.

Лишь поздним вечером раздается звонок, и Аглая Андреевна, за позднее время извинившись, просит Вику, как и обычно, зайти к ней завтра: надо помочь разобрать стенограммы. А после, мол, поговорим. За чаем. (О Родионцеве ни слова.)

У Вики от сердца отлегло: прощена! – хоть и не знает, в чем винули. Как после южного вина, в голове легкость, свежесть, она улыбается, она придет, она непременно завтра придет, она прямо-таки воркует в телефонную трубку, однако товарищ – это товарищ, и Вика не столько на мужестве, сколько на счастливой вроде бы бездумности отваживается у Аглаи Андреевны спросить:

– А Митя тоже завтра будет?

– Милая Вика, любите же вы усложнять. Я жду только вас.

– Я понимаю. Извините... – лепечет Вика, после чего они и прощаются, пожелав друг другу спокойной ночи.

Муж, всласть покуривший, смеется:

– Ну видишь, все обошлось.

Муж ложится спать, тишина; сынишка уже давно спит. А Вика все колеблется: отзвонить ли Родионцеву?..

Вика размышляет: может, Митя где-то что-то ляпнул или не так сказал, и Аглая осердилась, но ведь Аглая отходчива, и как только возникнет необходимость (наметится поездка или объявится хлопотливое дельце), Митя тут же понадобится и его призовут, если суть и впрямь в какой-то мелкой досаде.

Но едва ли: Аглая умна и из пустяков суеты не подымет; разве что за ним что-то вдруг обнаружилось. Аглая щепетильна и не выносит, к примеру, пьянства или иных общедоступных пороков, но что может обнаружиться за аккуратным Митей, человеком обычным и (одновременно) человеком осторожным?.. Вика колеблется, однако ночь все ближе, и вот чувство приятельства берет верх. Как бы за спиной Аглаи Андреевны позвонив Родионцеву, Вика сообщает, что назавтра она звана, а он – нет. Был у тебя какой-то промах, Митя, вот только какой?

2

После ее звонка Родионцев только и делает, что ищет этот промах, и прежде всего в днях недавних, по времени близких. Достигнув в своем поиске определенной изошренности, он очень скоро находит два случая, которые тщательнейше исследует. Он только ими и занят. Оба случая были на чаепитиях, и для различия Родионцев нумерует их как чаепитие-один и чаепитие-два.

В первом была (скажем так) вольность. Известно, что Аглая Андреевна в молодости боготворила их шефа, то есть нынешнего директора, поговаривали, что была с ним даже и явно связана по амурной части, бог с ней! – факт же в том, что, внешне либеральная, смелая на язык, она втайне все еще могла его боготворить, а он, Родионцев, разогнавшийся в том легкокрылом разговоре, сказал: «Вот еще! Будет наш директор думать и помнить о Птицыне!» – на что Аглая Андреевна негромко возразила: «Он думает и помнит о всех». Родионцев и на тихий этот нажим никак не отреагировал. «Ну вот еще, станет он помнить о замухрышке Птицыне!» – продолжал он упрямо, даже и нагло (если вдуматься), потому что Аглая Андреевна, вдруг сбавив голос, тихо и совсем уж покорно произнесла: «Уверю вас, он помнит о всех...» – после чего Вика незаметно толкнула его ногой; спохватившийся, он смолк, а Вика, помогая, скоренько перевела разговор на другое.

Второе сомнительное чаепитие, отстоявшее от первого ровно на неделю (и там и тут – вторник), Родионцев тоже оглядел и обдумал, он нашел, что было, пожалуй, как-то особенно солнечно: солнце, хотя и предзакатное, так и вламывалось в окна, а Аглая Андреевна была утомлена – лишь час назад закончилось важное совещание у директора. Утомление заметил и он, заметила и Вика, а к тому времени в коридорах шагов уже не слышалось – «Техпроект» опустел. Было семь часов, а то и восьмой, но они, засидевшиеся, что-то втроем еще обсуждали, даже и наново заварили чай. Стали наконец прощаться, и тут Аглая Андреевна сказала, что она остается и кое-что из дел текущих подготовит на завтра. И с какой-то вкрадчивостью она это сказала: «До свиданья». «До свиданья». – Он был в шаге от нее (она сидела за столом, он помнит), а Вика прошла вперед, хотя и она, конечно, слышала. «Вернитесь, Митя, выкурим еще по сигарете, хотите?» – сказала Аглая Андреевна, и он, конечно, кивнул. Он кивнул, и солнце (это уж Вика припомнила) как-то своеобразно освещало глаза Аглаи Андреевны: голубые, они вдруг делались серыми, а только сместись чуть в сторону – вновь голубые. Когда вышли, Вика восторгалась:

– Замечательная она женщина!

– Да... Для меня каждое общение с ней в радость. – Он никогда в славословиях, тем более аккуратных, не отставал от Вики, и вот, поддакивая, он спустился вниз, взял в раздевалке плащ, чтоб человека там не задерживать, и, сказав Вике: «Подымусь, она просила», – простился. Он и Вика работали в разных отделах, и понятно, что в некоторые вопросы обоих разом было лучше не вмешивать, но могло быть и так, что час поздний и Аглая Андреевна попросту не хотела Вика задерживать, а Родионцев был нужен; так или иначе с плащом через руку и с портфелем он взбежал вновь на второй этаж и вошел.

Аглая Андреевна сидела не за столом, а в кресле, на том месте, где только что сидел Родионцев, – он подошел, шаг сбавив и вполне осторожно, так как еще с порога увидел, что она сидит, прикрыв глаза. Он тихо позвал ее; она, утомленная, не шевельнулась. Она сидела, чуть склонив голову и подставив закатным лучам не столько лицо, сколько лоб, выпуклый, красиво очерченный, высокий. Он окликнул еще, чуть громче. Она была вроде как в дреме. Она подняла лицо и сказала:

– Утомилась... Дайте же сигарету.

Они закурили. Он – стоя и держа плащ и портфель, она – сидя в кресле. После легкой и, кажется, первой же затяжки Аглая Андреевна сказала:

– Ну-ну, продолжайте. Продолжим наш разговор.

Тут он смешался:

– О... чем?

Он забыл. Она подняла глаза уже со значением, а он замялся и, кажется, даже улыбнулся: забыл, мол. (Торопясь к ней вернуться, шел слишком быстро.)

– Как же это можно – забыть?

Она не рассердилась, она прекрасно владела собой – всегда и сейчас тоже: мол, забыл и забыл, но промашка его, разумеется, была зафиксирована. Усиление чувства не требовалось. И тогда Родионцев заговорил сам собой и наугад, выхватывая из памяти какие-то разговорные куски, пусть случайные:

– Вы хотели, чтобы часть бумаг я отвез на ксерокопию... Я смогу... Но вообще-то нам пора иметь...

Однако Аглая Андреевна про ксерокопию тоже не поддержала, и, видно, впрямь он крепко запомнил; он еще и еще дергался словами туда и сюда, на ощупь, но все без успеха. Сигареты были докурены, и Аглая Андреевна отпустила его: идите, мол, а у меня работа на завтра. «Не помочь ли?» – «Нет-нет...» Теперь Родионцев вроде бы вспомнил (и Вика подтвердила), что разговор перед уходом был о директоре. То есть опять же о директоре (если учесть предыдущее чаепитие).

Тем не менее опыт говорил, что сами по себе слова, хотя бы и повторенные, не могут быть таким уж промахом, чтобы прогнать человека с глаз долой, даже и не вспыхив.

* * *

Второе чаепитие вычленила и Вика. «А помнишь, – говорила она, прощупывая и вдруг глядя глаза в глаза, – Аглая попросила тебя, и ты к ней вернулся...» – «Ну и что?» А Вика, нимало не прячась, спрашивает:

– Ничего ли *там* не случилось, Митя?

Вика пришла к ним домой, и сначала она шушукалась с женой Родионцева, а теперь (жена Родионцева на кухне варит им кофе) Вика спрашивает, уже и повторяясь:

– А ничего ли там не случилось, Митя?

Бывшая сегодня у Аглаи вновь и обласканная, Вика искренне хочет помочь и ему: ей кажется, что Родионцев умалчивает, стесняясь назвать, и что он знает, возможно, свой промах, но таит. И так, и этак она намекает, что всякий промах можно исправить и загладить, но для этого надо же знать, в чем он состоит, промах?.. Ну хорошо, если человек не знает, не помнит, он должен, хотя бы и усилием, вспомнить – не так ли?

На шесть, что ли, лет Вика моложе Родионцева, но ведь она практичнее. Отметившая и сразу вычленившая тот случай, когда он поднялся к Аглае один, она расспрашивает, а затем намекает без подготовки да и без церемоний: не нарушил ли он, Родионцев, дистанции меж мужчиной и женщиной в отношениях с Аглаей Андреевной? Так она это формулирует, и Родионцев смеется: да полно тебе!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.